

Эта книга посвящается памяти нашей матери Зинаиды Александровны Сульман (Яроцкой), представительнице большой русской семьи, связанной родственными и дружественными связями с широким кругом прекрасно образованных и прогрессивно настроенных людей, составлявших гордость и славу России.

О многом, происходившем с мамой и ее семьей в России до революции и после, мы узнали из ее рассказов. О многом узнали только в последние годы, во время подготовки к изданию Воспоминаний сначала в Швеции, а потом в России. Особенно тяжело было осознание того, какой груз грусти несла наша мама, вынужденно оторванная от своих горячо любимых родителей, братьев и сестер, как мужественно она противостояла всем попыткам советских спецслужб сделать ее, жену шведского дипломата, своим осведомителем.

Искренне ужасаясь тому, что сделал с ее родиной коммунистический режим, она не стремилась подчеркивать в нас, детях, наши русские корни. Но, будучи человеком, воспитанным интеллигентной русской средой, она не могла не внушить нам любовь и уважение к той России, частью которой была ее обширная семья, к той России, которая всегда жила в ее душе в прекрасных образах детства, запечатленных в Воспоминаниях.

Мы посвящаем эту книгу памяти нашей матери с любовью, благодарностью и восхищением.

*Ингер Польссон (Сульман)
Стаффан Сульман
Микаэль Сульман*

Предисловие

Эта книга читалась мной с непреходящим волнением, а некоторые части ее — с живой болью. Надо оговорить, что я не сторонний читатель и по происхождению принадлежу к тому разветвленному родственному клану, составной частью которого является обширная семья Яроцких-Сульманов. История этой семьи (а отчасти и всего клана) разворачивается в воспоминаниях Зинаиды Александровны Сульман (Яроцкой), в ее собственном большом письме и в письмах ее родственников, впервые опубликованных в России. Зинаида Александровна, главная героиня книги, — двоюродная сестра моей матери, Нины Анатольевны Винберг, также упоминаемой на страницах книги вместе с отцом Нины Анатольевны Анатолием Владимировичем Винбергом — родным дядей Зинаиды Александровны и моим дедом.

Воспоминания Зинаиды Александровны, с 1925 года жены шведского дипломата, а в 1947–1964 годах посла Швеции в СССР Рольфа Сульмана — бесценный документ, свидетельство современника, сострадающего и страдающего очевидца ужасающих сторон жизни в большевистском государстве. Эти воспоминания несомненно будут изучаться российскими историками и привлекаться для воссоздания правды о советской действительности.

Многолетнее противостояние Зинаиды Александровны органам госбезопасности, пытавшимся если не сделать ее своим агентом, то хотя бы вступить с ней в постоянное общение, кончилось ее победой. Об этом противостоянии и о давшейся с напряжением всех душевных сил победе она точно и объективно рассказала потомкам в воспоминаниях и в письме. Все это вместе взятое — подвиг, особенно если учесть, что при этом она должна была обеспечить безопасность своих родственников.

Центральное место в книге, на мой взгляд, занимает письмо Зинаиды Александровны от 20 ноября 1932 года, посланное из Швеции во Францию ее родственникам Оболенским и написанное вскоре

после возвращения из поездки в Россию. В нем она сообщает подробности о начале в 1929—1932 годах пыточной эпохи в истории ее Родины. Это письмо, написанное по свежим следам, обладает высокой степенью достоверности. Описывая эту же поездку в воспоминаниях, начатых лишь в 1967 году, она невольно опускает наиболее болевые впечатления, полученные ею во время этой поездки.

Для меня достоверность сообщений Зинаиды Александровны в письме 1932 года о самых ужасных сторонах советской действительности 1929—1932 годов несомненна еще и потому, что они в основных чертах совпадают с фактами, известными мне по рассказам моей мамы Н. А. Винберг и бабушки Е. Н. Винберг (Карабчевской), только у Зинаиды Александровны все это дано более развернуто и обнажено. Основными ее «информаторами» по этой теме были Н. А. Винберг и А. С. Пампулов (отчим двоюродных сестер Нины Анатольевны), об аресте и пытках которого также упоминали мои близкие.

Некоторые подробности, сообщаемые в письме, стоит пояснить. То, что говорится об ужасах содержания арестованных и этапированных в район Архангельска, основано на рассказе Н. А. Винберг о судьбе ее возлюбленного (Зинаида Александровна называет его мужем Нины Анатольевны, что, по существу, верно), известного византиниста, хранителя художественного отдела Русского музея Алексея Петровича Смирнова, к которому в места его заключения и поехала Нина Анатольевна.

Необходимо прокомментировать следующий отрывок из письма Зинаиды Александровны: «Особенно Нина боится твоих, Ася, писем, т. к. ты слишком касаешься религиозных тем. Если бы ее арестовали, то сейчас же арестовали бы многих других, с которыми она видится. Нина сказала, что в подполье в России много пишут, много выдающихся писателей и философов, но все это скрывается и прячется в подполье».

А. П. Смирнов был арестован 29 апреля 1929 года по так называемому делу А. А. Мейера, за участие в собиравшемся на дому кружке, занимавшемся проблемами религии и философии. При обыске в кармане его пиджака была обнаружена записка от 6 июня 1928 года, подписанная «Н. Винберг» и свидетельствующая об их близких отношениях. А. П. Смирнов погиб в Кемском пересыльном пункте 10 марта 1930 года. В репрессивных органах также готовилось дело по поводу существовавшего в течение многих лет кружка молодых историков под руководством выдающихся ученых И. М. Гревса и О. А. Добиаш-Рождественской, в который, кроме Н. А. Винберг, входили в разные годы историк и философ Г. П. Федотов и такие ученые, как М. А. Тиханова, Е. Ч. Скржинская, Н. В. Пигулевская, А. Д. Люблинская, М. А. Гуковский и др. Некоторые из них были подвергнуты

допросам, так что опасения моей мамы за их судьбу в случае ее ареста были обоснованными. Вышеизложенное также объясняет информированность Нины Анатольевны о философах и писателях, пишущих в подполье. Ася, писем которой она боялась, — это ее двоюродная сестра и ближайший друг ее молодости Александра Владимировна Оболенская, позднее — мать Бландина.

Примечательно, что письмо Зинаиды Александровны от 29 октября 1932 года написано ровно за год до создания уникального стихотворения Осипа Эмильевича Мандельштама о стоявшем во главе страны «душегубце и мужикоборце»* и точно выявляет то состояние общества и властей, которое и запечатлено навсегда в беспримерном по смелости стихотворении, за которое в конечном счете несравненный поэт заплатил жизнью. В полном согласии с эпитетами «душегубец» и «мужикоборец» в стихах О. Э. Мандельштама, написанных в ноябре 1933 года, находятся следующие фразы в письме Зинаиды Александровны, написанном в ноябре 1932 года: «...сейчас между крестьянами и партией идет открытая борьба, со стороны крестьян просто пассивная война» и «...трудно сказать, сдадут ли большевики или крестьяне, перемерев, половина сдадутся в рабство?!» И эту суть происходящего умная и чуткая Зинаида Александровна точно уловила, не выезжая за пределы Москвы, и в емких и четких фразах сообщила о ней миру — через Оболенских.

Письмо Зинаиды Александровны обращено ко всему многочисленному семейству Оболенских, но в первую очередь — к ее любимому дяде, князю Владимиру Андреевичу Оболенскому; именно его она просит сохранить письмо как конспект всего, что она увидела и услышала в России. Пытаясь вступить в контакт с Зинаидой Александровной, агенты КГБ хотели получить какие-то сведения прежде всего о нем.

Необходимо сказать об этом замечательном человеке нечто выходящее за пределы обычного упоминания о том, что он был депутатом Первой Государственной думы и секретарем ЦК партии «кадетов» и что на его квартире во Пскове, на собрании социал-демократов (в их числе был и Ленин), в апреле 1900 года было решено издавать газету «Искра».

Тогда же во Пскове, на рубеже веков В. А. Оболенский произнес провиденциальную фразу, точно определяющую тот тип «человекоорудия истории», который пришел к власти и властвовал в России в 1917–1953 годах (да и не только в это время). Однажды в период контактов Оболенского и Ленина во Пскове кто-то сказал, что Ленин и Потресов живут душа в душу, на что Владимир Андреевич ответил: «Живут они не душа в душу, а голова в голову, *так как у Ленина души*

* Так охарактеризована эта фигура в первичном, наиболее остром варианте стихотворения.

нет». Отдавая должное «феноменальной памяти» и «исключительным способностям» Ленина, мышление которого, однако, «было замкнуто в трафарете марксистских идей», Владимир Андреевич отмечает, что «интерес к человеку ему был совершенно чужд» и что «холодность Ленина к людям бросалась в глаза».

Обо всем этом можно прочесть в книге В. А. Оболенского «Моя жизнь, мои современники», которую высоко ценил как первоклассный источник А. И. Солженицын, используя содержащиеся в ней сведения при написании «Красного колеса».

В. А. Оболенский и его тесть В. К. Винберг были опорными и объединяющими личностями во всем клане Винбергов-Оболенских-Яроцких в России до 1920 года. И поэтому именно В. А. Оболенскому адресовано в первую очередь письмо Зинаиды Александровны. А поскольку сам Владимир Андреевич и вся семья Оболенских имели разветвленные контакты и пользовалась уважением среди эмигрантов-интеллигентов во Франции, то ясно, что это письмо было для последних прямым источником достоверной информации о происходящем в СССР. Трудно постигнуть, как и почему вопреки этому и другим надежным свидетельствам умные, порядочные и отважные люди (например, «левые евразийцы») именно в начале 30-х годов поверили в «великую миссию» сталинского режима, становились в отдельных случаях даже агентами ГПУ и стремились, и ехали в СССР, чтобы потом пройти через пытки, погибнуть или быть посаженными и сосланными.

Наибольшую часть книги составляет переписка между теми, кто входил в вышеозначенный клан, и главным образом между членами семьи Яроцких-Сульманов. Переписка эта являет собой поразительный памятник той, ныне утраченной, «культуры писем», писем, наполненных в нашем случае таким ровным светом любви, внимания и сочувствия, что диву даешься. Письма А. В. Яроцкой к дочери в Швецию отмечены глубоким пониманием всех радостей и трудностей жизни Зинаиды Александровны там и содержат всегда деликатные, добрые и умные советы. А какова восстанавливаемая по письмам история жизни юного благородного Владимира Яроцкого (Волюна), погибшего в конце 1920 года при разгроме Белой Армии... Каким искренним уважением, любовью, вниманием ко всем деталям жизни своих родителей и родственников веет от писем его, сначала гимназиста, а в конце офицера Белой Армии...

Хочется принести глубокую благодарность сыновьям и дочери Зинаиды Александровны Сульман (Яроцкой) за издание этой книги в России. Их мать вновь и навсегда вернулась в Россию, не покидая любимой Швеции, родины ее детей и внуков.

Д. А. Мачинский



Воспоминания

От переводчика

Своеобразным предисловием к публикуемым в настоящей книге письмам членов семьи Яроцких служат воспоминания Зинаиды Александровны Сульман (урожденной Яроцкой), в 1925 году уехавшей из России и навсегда связавшей свою жизнь с шведским дипломатом Рольфом Сульманом. Ее многократные приезды в трагические 30–40-е годы на родину, где оставались родители и близкие, и длительное пребывание в Москве с 1947 по 1964 год как жены посла Швеции в Советском Союзе приносили несоизмеримо больше огорчений, разочарований и тревог за судьбы родных, чем радости от встреч, и оставили глубокий след как в ее жизни, так и в жизни всей ее большой семьи. Став женой шведского дипломата и, соответственно, приняв шведское гражданство, Зинаида Александровна не осталась равнодушной к жизни и событиям, происходившим у нее на родине. Горечь и боль за судьбы близких нашли отражение в ее воспоминаниях и письмах.

Работу над воспоминаниями Зинаида Александровна начала в 1967 году, вскоре после смерти мужа, и писала их на шведском языке, поскольку предполагалась их публикация в одном из шведских издательств. По стечению обстоятельств они не были изданы, и лишь в 2008 году сын Зинаиды Александровны, Стаффан Сульман, опубликовал их фрагменты, наряду с письмами родственников, в своей книге «Русская семья в письмах и воспоминаниях 1886–1961 годов» («En rysk familj i brev och minnen åren 1886 till 1961»). Он же подготовил новый вариант недавно вышедшей в Стокгольме книги «Зина Сульман и ее русские родственники» («Zina Sohlman och hennes ryska släkt»), в которую также были включены отрывки из ее воспоминаний.

Необходимо заметить, что и для настоящего издания фрагментарности в переводе воспоминаний избежать не удалось. Обусловлено это

не столько внешними факторами (например, ограниченный объем), сколько состоянием рукописи, ее содержанием и отсутствием цельного, последовательного изложения. Иначе говоря, сохранившиеся в машинописных копиях тексты остались разрозненными, ибо работа по подготовке книги к изданию Зинаидой Александровной не была завершена.

Самую большую часть воспоминаний — примерно треть от их общего объема, или почти половина в настоящем издании, — составили описания событий и впечатлений детства.

Родившись в Петербурге в 1903 году, с трехлетнего возраста и до одиннадцати лет Зинаида Александровна жила в университетском городе Юрьеве (Дерпт, ныне — Тарту), где в то время работал ее отец. Каждое лето их семья выезжала на отдых в Крым, в принадлежавшее им имение Саяни. Там жили родители ее матери — Леонида Францевна Шлейден, чьим предком был известный французский актер Жан Риваль, сценический псевдоним — Офрен (в 1785 году он был приглашен в Россию, выступал с большим успехом, был возведен в дворянское достоинство и пожалован упомянутым поместьем в Крыму), и Владимир Карлович Винберг, — известный крымский общественный деятель. Одним из предков Владимира Карловича был швед Винберг, служивший в армии Карла XII; попав в плен, он остался после завершения Северной войны в России, и его потомки были удостоены дворянского титула.

Воспитание, полученное Зинаидой Александровной в ранние годы, — музыка, языки, литература, рисование — во многом позволило смягчить ее вступление в чужое общество и укорениться в новой стране, вырастить и воспитать детей. Немаловажную роль в ее детстве и юности играла атмосфера в доме и круг друзей и знакомых ее родителей — отца, Александра Ивановича Яроцкого, профессора медицины, и матери, Антонины Владимировны, в молодости занимавшейся вокалом и даже выступавшей в оперной труппе в Италии.

Семья Яроцких постоянно поддерживала связь с семьями известных ученых, педагогов, литераторов. Среди друзей юности родителей Зинаиды Александровны еще со времени студенчества в Петербургском университете были члены обществ «Приютинское братство» и «Кружка Калмыковой»: В. И. Вернадский, В. В. Келлер, И. М. Гревс, С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбурги, Д. И. Шаховской и другие.

Дружба семьи Яроцких с яркими представителями российской интеллигенции продолжалась и в Юрьеве, и в Крыму — в Саяни, месте их летнего отдыха до 1917 года, и в Симферополе во время Граж-

данской войны и голода, в период работы Таврического (Крымского) университета (1918–1924), и в Москве в 20–30-е годы.

Несмотря на свой значительный объем, воспоминания детства написаны Зинаидой Александровной как будто на одном дыхании. Конечно — ведь это было время безотносительных ценностей, когда все только начиналось и представлялось таким привлекательным. Потребность сберечь и удержать впечатления этой части жизни, кажется, была предопределена не только подготовкой Зинаидой Александровной книги к шведскому изданию, но и возможностью для нее еще раз вернуться в те счастливые дни, освободиться от детских страхов и обид, прятавшихся в глубинах памяти более шестидесяти лет, наконец поделиться сокровищами своего детства с близкими — детьми, внуками, правнуками.

Кроме того, при чтении этой части воспоминаний наиболее часто возникает множество реминисценций известных произведений русской литературы как подтверждение значимости событий, явлений и формирования стереотипов в детском восприятии, характерном для начала XX в. Вот лишь некоторые из них: рассказ Зинаиды Александровны о праздновании дня Св. Николая и ужас от встречи с ряжеными, оставшийся на все последующие годы (ср.: «С детства ряженых я боялась, / Мне всегда почему-то казалось, / Что какая-то лишняя тень / Среди них „без лица и названья“ / Затесалась...» — А. Ахматова, «Поэма без героя»); постоянные сборы в поездки с родителями, купола как особенная картина на фоне серого, монотонного города («...Помню выезд, какие-то сборы... Все впечаталось в память ребенка... А потом — купола, купола, / И мы едем, все едем куда-то... Папа молод. И мать молода...» — Д. Самойлов, «Выезд»); диаметрально противоположные впечатления человека маленького («[в детстве] протестантские церкви меня тяготили. Они казались холодными... белые известковые стены») и человека взрослого («Я лютеран люблю богослуженье, / Обряд их строгий, важный и простой — / Сих голых стен, сей храмины пустой / Понятно мне высокое ученье...» — Ф. Тютчев).

Безмятежное детство проходит — наступает пора первых самостоятельных поступков; прогулки по окрестностям Саяни в Крыму с ровесниками совпадают с тревожным временем перед началом Первой мировой войны. Атмосфера напряженная, и взрослят даже разговоры с незнакомыми людьми. Одиннадцатилетняя Зина чувствует себя ответственной за позицию — свою и своей семьи — при встрече с крымскими турками, но еще не способна оценить весь масштаб предстоящей катастрофы.

С 1915 года Яроцкие вынужденно разлучаются: отец со старшим сыном Владимиром остается в Дерпте, старшая дочь Лидия учится в Петербурге, а Зина вместе с матерью, сестрой и младшими братьями живут в Крыму.

Следующие несколько лет, примерно с 1917 по 1925 год, не нашли отражения в воспоминаниях Зинаиды Александровны. В 1919 году А. И. Яроцкий преподавал в недавно образованном Таврическом университете, а в начале 20-х годов студенткой университета стала Зинаида и вошла в студенческую компанию, кружок «аргонавтов», образовавшийся из литературно-драматического кружка студентов университета. В числе ее новых знакомых были те, кто потом на протяжении многих лет оказывал помощь и поддержку ее родителям и близким, и те, кто отвернулся и в буквальном смысле захлопнул перед ней дверь, испугавшись обвинения в связях с иностранцами. А в 1921 году семья получила трагическое известие о гибели под Каховкой старшего сына Владимира Яроцкого, сражавшегося в белой армии. Ему было всего двадцать два года.

В 1920–1923 годах в работе Комитета Нансена принимал участие молодой швед Рольф Сульман, в частности он контролировал доставку продовольствия в Симферополь. Рольф в то время не говорил по-русски, поэтому стал общаться с семьей Винбергов—Яроцких, знавших немецкий и французский языки. Знакомство Рольфа и Зинаиды переросло в глубокое чувство, и в 1925 году Зинаида уезжает к Рольфу в Париж. В 1926 году она становится его женой.

С 1927 по 1946 год Рольф Сульман, как шведский дипломат и сотрудник Министерства иностранных дел Швеции, занимает различные должности в дипломатических представительствах в Риге, Лондоне, Риме, Париже. С 1947 по 1964 год он был послом Швеции в Советском Союзе. Все эти годы Зинаида Александровна неизменно остается рядом с мужем, стойко выдерживая и напряжение дипломатической жизни, и вынужденную, насильственную разлуку со своими родителями и близкими.

Воспоминания Зинаиды Александровны, относящиеся к тому времени, не обладают легкостью изложения, так характерной для первой части, что, конечно, обусловлено их содержанием. Судя по сохранившейся рукописи, записаны они были в 1970-х годах в разное время, иногда с интервалом в несколько лет. Стиль повествования кажется более напряженным, описываемые события и их ракурсы настолько выразительны, что при чтении возникает ощущение реального присутствия.

Формально композиция текста хронологически выстроена на приездах Зинаиды Александровны в Россию. Первый — в 1928 году, в новом статусе жены дипломата, молодой мамы (у Сульманов год назад родился первый ребенок — дочь Ингер); радостное нетерпение смешивалось с тревогой: когда-то, «в прошлой жизни», она уже простилась со своими родными. Второй — в январе 1929 года, всего лишь на пару дней, только чтобы увидеться с близкими, поскольку Рольф получил новое назначение в Лондон и Зинаида Александровна не знала, когда и с кем из родных состоится встреча в следующий раз. Этот эпизод в перевод не включен — прежде всего потому, что сама Зинаида Александровна пишет, что мало помнит об этом приезде.

Во все последующие приезды — еще один в 1929-м, затем в 1932, 1940, 1945 годах, а также в 1947 году, когда Зинаида Александровна приехала в Москву как жена посла Швеции в Советском Союзе, — она находилась под наблюдением служб государственной безопасности. С горечью и болью рассказывает она о бесцеремонном и циничном вмешательстве в жизнь ее родственников на протяжении почти двух десятилетий, о неоднократных попытках привлечения ее к сотрудничеству, о невозможности нормально общаться и даже встречаться со своими пожилыми родителями, сестрами и братьями. Вместе с тем именно в изложении этих событий прослеживается ее твердая жизненная позиция, исполненная мужества и решимости.

Среди материалов, намеренно исключенных из перевода, что было обусловлено стремлением в первую очередь представить судьбу Зинаиды Александровны и ее семьи в России, остались рассказы о хитросплетениях дипломатической жизни, о встречах и знакомствах с разного ранга представителями дипломатических корпусов и поездках, связанных с работой мужа. Но кстати будет заметить, что в мемуарах и публикациях известных шведских дипломатов и журналистов, наряду с неоднозначной оценкой профессиональной деятельности Рольфа, касающейся советско-шведских отношений, оказалось немало личных впечатлений от общения как с парой Сульманов, «представлявших Швецию достойно, эффектно и безупречно», так и с Зинаидой Александровной — «умной и очаровательной» (наиболее часто повторяющиеся эпитеты) и «самоотверженной» (В. Вахтмейстер, К. фон Платен, Л. Петри, Р. Каспарссон и другие).

Показательно отсутствие в воспоминаниях Зинаиды Александровны каких-либо подробностей быта и образа жизни семьи Сульманов: здесь говорится о рождении детей, об отношениях с Рольфом и его отцом, даются короткие реплики, отражающие беспокойство за их здоровье или тревогу, связанную с вынужденной сменой привыч-

ного уклада жизни. Можно предположить, что именно семья составляет основную жизненную ценность для Зинаиды Александровны. Это не часть ее жизни, а что-то большее, о чем даже не следует говорить, чтобы не нарушить таинства исповеди. Обратной стороной такой беззаветной любви к близким становятся в воспоминаниях боль и страдание за судьбу родителей, братьев и сестер. И эта любовь позволяет Зинаиде Александровне соединить в своем сердце два дома, два мира и стать для них опорой и спасением.

В заключение приходится с сожалением признать, что некоторых родственников и знакомых Зинаиды Александровны, чьи имена встречаются в воспоминаниях, идентифицировать не удалось: даты жизни многих даже близких ей людей остались не установлены или неточны. Кроме того, из-за двойной транслитерации (сначала на шведский, а потом на русский) возможны ошибки в написании некоторых имен и фамилий.

Сердечно благодарю Ингер, Стаффана и Михаила Сульманов за данную мне возможность знакомства с материалами семейного архива и многостороннюю помощь в работе над переводом и комментариями воспоминаний их матери Зинаиды Сульман.

Искренне признателен Елене Владимировне Монастырской за подробные консультации и Дмитрию Алексеевичу Мачинскому, одному из моих учителей, за любезно предоставленные материалы и постоянную творческую поддержку.

Вадим Казанский

З. А. Сульман (Яроцкая)

Воспоминания

Не скрою, что начинаю писать эти воспоминания с большим волнением. Рассказывать о своем детстве очень трудно: требуется литературный талант изложить историю так, чтобы она смогла заинтересовать еще кого-то, кроме тебя. Запах цветка, несколько нот мелодии или песня дрозда у самой пробуждают тысячи памятных эпизодов, настолько красочных и живых, что почти вызывают боль. Но если этих ассоциаций нет, воспоминания кажутся слабыми и скучными.

Хочу коротко представить вам мою семью, чтобы сделать мои ранние воспоминания более понятными. Мой отец, Александр Иванович Яроцкий, был профессором медицины. Он окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и вскоре там же стал доцентом. Спустя несколько лет его назначили профессором в университете Дерпта (ныне: Тарту). Моя мать, [Антонина Владимировна Винберг], была дочерью помещика. Обладая чудесным голосом, она в течение двух лет занималась пением с маэстро в Италии. Там она вошла в оперный ансамбль, выступала в различных итальянских городах и в последний год была приглашена певицей в миланский оперный театр Ла Скала.

Семья мамы была либеральной. Папа, настоящий ученый, мало интересовался политикой. Он осознавал нехватку врачей в деревне и самоотверженно стремился подготовить как можно больше квалифицированных специалистов и способствовать развитию науки. В общем, оба — типичные русские интеллигенты.

Мы не были особенно богаты, но и не бедны. Мамины родители владели имением в Крыму, недалеко от Ялты, а мать отца — имением

на Валдае, в Центральной России. Каждый год родители ездили в Крым, иногда отправлялись за границу.

В семье было шестеро детей: старшая дочь Лидия, сын Владимир, Мария, я и два малыша — Александр и Леонид, которых мы звали Алик и Лелик. Родители смогли без каких-либо жертв дать нам хорошее воспитание.

С раннего детства до революции мои воспоминания прочно связаны с двумя местами — Дерптом в Эстонии и Крымом. Зато первые годы в Петербурге, где я родилась, слишком туманны, чтобы здесь их описать. Но жизнь шла год за годом: зимой мы жили в Дерпте, а летом — в сказочном Крыму.

Наш первый дом в Дерпте был большим, с садом, выходившим на парк Домберг. Район, ближайший к нашему участку, назывался Каццен-домберг — он был незнакомым и немного пугающим, так что туда мы редко заходили. Там оставались большие руины готического католического монастыря. В высоких церковных сводах каркали вороны — или это были галки; иногда срывались вниз расшатавшиеся кирпичи. Парк Домберг, наоборот, был чудесным: зимой — санные горки, весной — нежные березы и птичье пение, подснежники и первоцветы. Но, к несчастью, еще и «нехорошие дяди»; поэтому калитка между нашим садом и парком всегда оставалась запертой.

Напротив нашего дома располагалась типичная студенческая корпорация. Помню немецких студентов в полосатых шапочках, со шрамами на щеках и с жирными таксами на поводках. Однажды весной, возможно, в Вальпургиеву ночь*, студенты горланили до утра, но мы не особенно беспокоились, ведь тогда это тоже связывалось со студенческой жизнью. На следующее утро, к нашему большому веселью, мы увидели их сидящих на террасе с настоящими удочками, закинутыми в землю. Юноши выглядели вялыми. Тогда впервые в моей жизни я услышала слово «пьяный».

Рождество в то время представлялось мне чем-то совершенно фантастическим. Мы, девочки, в красивых белых платьицах с шелковой лентой на поясе и с бантами в волосах, и брат Владимир в обязательном матросском костюмчике, с нетерпением ждали, когда откроется дверь в зал. Наконец мы входили! Горела рождественская елка, и можно было ослепнуть от свечей, мишуры, серебряных шариков

* Вальпургиева ночь, или Встреча весны, отмечается с 31 апреля на 1 мая; праздник студентов.

и красных яблок. Нас встречали веселые и улыбающиеся родители и делили с нами потом нашу несказанную радость от подарков. Праздник заканчивался торжественным ужином с индейкой и морошкой со взбитыми сливками. Индейка и бочонок морошки были вкладом матери отца в наше празднование Рождества.

Рождество, которое я помню лучше всего, закончилось для меня не горем, но довольно-таки большим переживанием. Как раз перед праздником к нам пришел разносчик — вероятно, эстонский крестьянин. Среди прочего он продавал игрушки, и я успела увидеть кукольную мебель. Мама пригласила торговца в столовую и закрыла за собой дверь. Это означало, что она хотела что-то купить...

Ах, как же я хорошо помню нашу большую круглую столовую!

...Я так испугалась, что мама купит что-то не то, что-то совсем другое, не эту мебель, которую мне так хотелось. Осторожно открыв дверь, я крикнула: «Ме-биль!» и быстро ее закрыла. Но маневр повторила еще несколько раз.

Наступило Рождество, и к своему неописуемому восторгу я получила возделенную игрушечную мебель. Радостная и счастливая я вдруг заметила лукаво улыбающуюся маму и стоявших за ней смеющихся брата и сестер. Кто-то из них крикнул: «Ме-биль!».

Мне тогда еще не исполнилось четырех лет, но странно, словно во мне что-то надломилось — на душе стало тоскливо. Получилось, что я выпросила этот подарок. С тех пор мне так трудно что-либо себе желать; люди сами решают, что они хотят мне подарить.

Думаю, наш красивый и уютный дом в Дерпте был продан. Во всяком случае, оттуда мы переехали. Другой дом, расположенный на окраине города, был слишком тесным для нашей большой семьи, к тому же неудобным. Даже окрестности наводили тоску и никому из нас не нравились.

Но как раз на той квартире я осознала, что в стране происходило нечто странное. Мама иногда начинала собирать наши старые вещи. Действовала она решительно, но выглядела обеспокоенной. На мой вопрос, зачем она пакует одежду, она отвечала, что отправит ее сосланным детям.

— Сосланные? — переспросила я. — А кто это?

— Те, кто вынужден уехать отсюда, из своих домов, и они не смогут жить где хотят.

И добавила, что я пойму позже, что это означает, — когда стану немного старше. Но то, что мама осуждала это и мрачнела, я все-таки уяснила.

Однажды к нам пришел политзаключенный Морозов. Его имя было у всех на устах: он только что освобожден после двадцати пяти лет тюрьмы — вначале в Петропавловской крепости в Петербурге, потом в Шлиссельбурге. В нашем доме собралось много народу, пожелавшего встретиться с ним. Морозов прочитал доклад. Я уселась к нему на колени и чувствовала его большую руку, которая держала меня нежно и крепко. Что он говорил, не знаю, я была слишком мала, чтобы понять. Помню только лица слушателей: они благоговейно внимали его речи и были полны восхищения. А я не могла понять, как и зачем такого веселого и доброго дядю могли бросить в тюрьму.

К всеобщей радости мы скоро переехали с той скучной квартиры в новую, где и жили до самой революции. На просторном участке стояли два дома, окруженные садом. В одном из них, на нижнем этаже, обитал его владелец со своей семьей, на верхний въехали мы.

Хозяин — латыш, господин Гривинг — был директором собственной музыкальной школы и талантливым музыкантом. Его органские концерты в кафедральном соборе становились событием. В молодости он давал уроки музыки, и среди его учеников оказалась одна очень красивая девушка, баронесса Буксгевден. Они симпатизировали друг к другу, постепенно их привязанность переросла в любовь, и молодая баронесса, преодолев сопротивление своей семьи, вышла замуж за музыканта. Ужасно, что Гривинг не был дворянином, но то, что он вдобавок был еще и латышом, обернулось катастрофой. Отец никогда не простил свою дочь, а мать помешалась от горя.

Господин Гривинг оказался ужасным тираном. Не знаю, отразились ли в этом унижения в его юности или он был таким от рождения. Красивая госпожа Гривинг выглядела всегда измученной и печальной, а дети жили в постоянном страхе.

Старшая дочь Элин спасалась довольно ловко. Она была скучной, верующей, и казалось, что несмотря на свои немногим больше двадцати лет, уже готова была остаться старой девой. Вторая дочь — Эльза, хитрая и льстивая, тоже неплохо выкручивалась. Но бедняжка Белла, моя подруга и товарищ, подвергалась постоянным наказаниям, чаще всего — побоям. Кроме того, ее даже ставили на колени в угол на мешок с сухим горохом — однажды я была тому свидетелем.

Но хуже всего приходилось их единственному сыну Ролли (Рудольфу). Отец регулярно избивал его. Это привело к тому, что по ночам он все позже возвращался домой. В окне загорался свет, и из-за

ширмы слышались слова: «Was würde Jesus dazu sagen?»* Подобные нравоучения исходили от благочестивой сестры Элин. В конце концов Ролли сбежал из дому. Благодаря родственным связям госпожи Гривинг при царском дворе его потом зачислили в гвардейский полк. Некоторые прибалтийцы могли воспользоваться подобными связями для своих «несчастных сыновей». Шведам доставались бóльшие тяготы — они попадали на море.

Господина Гривинга я увидела в первые дни после нашего переезда. Мы только что познакомились с Беллой и выяснили, что у нас обеих потрясающие имена. Ее звали Изабелла, а меня — Зинаида (Белла и Зина). Мы играли в саду, но даже не успели покачаться на новой качели, как увидели медленно идущего человека в темном пальто, в шляпе и с тростью. Белла шепнула, что это ее отец. Он остановился и приветливо поздоровался с нами. Мы сделали книксен. На его вопрос «во что мы играем» Белла живо ответила, что мы качались на новой качели. Я изумилась и, когда ее отец ушел, спросила Беллу, зачем же она сказала неправду. Она объяснила, что никогда не знает нужного ему ответа. Если у него было плохое настроение, он мог ее ударить. «Ударить? Но почему?» — удивилась я. Белла ответила только, что он такой.

В то же мгновение я услышала какой-то неистовый гул, и на нас обрушились рокочущие звуки. Ревело грозно и жутко. Я испугалась, но Белла, рассмеявшись, объяснила, что это всего лишь орган, на котором играет ее отец. Еще очень долго я боялась органной музыки, поскольку была уверена, что ее играют злые люди, которые бьют маленьких девочек без причины. Только когда я побывала на конфирмации моей старшей кузины — она была протестанткой, поскольку ее отец барон Клейбер происходил из остзейских немцев, — то несколько примирилась с органом как инструментом. Но протестантские церкви меня тяготили. Они казались холодными: никаких икон, почти совсем никаких свечей, никакого ладана, только белые известковые стены и торжественно сидящие, застывшие люди в черных одеждах. Лишь от органа исходили тепло и нежность. Меня совершенно очаровала органная музыка в большом и красивом кафедральном соборе Дерпта, когда моя мама пела, а господин Гривинг играл. Собор был полон, прекрасный мамин голос и звуки органа в совершенной гармонии плыли над всеми нами. Тогда я вдруг осознала: несмотря на все, возможно, что-то хорошее было и в господине Гривинге.

* «Что бы на это сказал Иисус?» (нем.).

Много позже я узнала дальнейшую судьбу их семьи. К тому времени родители Гривинги уже умерли. Эльза и Белла, счастливые, что революция смела все викторианские запреты, пустились в буйные эротические разгулы. Они обе умерли от туберкулеза, когда им еще не было и двадцати пяти. Ролли погиб, вероятно, в Первой мировой войне или в Гражданской войне, или, может быть, его расстреляли красные. Когда я читала «Доктора Живаго» Пастернака, где рассказывается, как одного молодого прибалта застрелил красногвардеец, я думала о веселом, симпатичном Ролли Гривинге.

Другой моей подругой по играм в то время была Лёка Миллер. Невысокого роста, с кудрявыми — еще больше, чем у меня, — волосами. Говорили, что она похожа на маленькую маркизу. Отношения в их доме тоже были сложными. Семья состояла из отца Евгения Бернардовича, его жены и Лидии, одной из сестер хозяина.

Сестры Миллер, закончив учебу в Москве, чувствовали себя больше русскими, чем немками. Фру Миллер, наоборот, упорно отстаивала, что она — немка. У них было две дочери: старшая Нина — подруга моей сестры Марии, и младшая Лёка (Елена) — моя. Девочки действительно были двуязычными.

По экономическим причинам незамужняя Лидия жила в семье брата. Позже я поняла, что отношения между золовкой и невесткой были очень натянутыми.

Мы, младшие девочки, общались довольно часто. Однажды меня пригласили к Миллерам, и наша гувернантка отвела меня к ним. Дверь открыла горничная. Она помогла мне с ботинками и брючками, но не удержалась, чтобы не дать шлепок и не заметить: «Русские матери такие легкомысленные». Дело в том, что мы обходились без вязаных шерстяных нижних юбок, обычных среди немецких девочек. Я обиделась за маму. Так день начался с переживания.

Вышла Лёка, обрадовалась, увидев меня, и потянула за руку. В доме стояла странная тишина. В гостиной тикали часы, лампа с длинной шелковой бахромой слабо освещала комнату. Я шла на цыпочках, боясь нарушить это безмолвие.

Мы миновали столовую и пришли, наконец, в комнатку Лёки. Как приятно там было! Аккуратный кукольный шкаф, нарядно одетые куклы, и, кроме того, большой запас красивой одежды для переодевания. Еще в комнате стоял собственный хороший письменный столик с множеством украшений. Я с горечью подумала о своей комнате — какой там ералаш. Но не было никакого смысла пытаться навести порядок, потому что мои младшие братья немного погодя опять все перевернут.

Вскоре нас позвали к чаю. За обеденным столом уже сидели родители Лёки и ее тетя. Возле большого самовара находилась мать. Внушительного телосложения, рослая, туго затянутая в корсет, одетая, как всегда, в синее платье, она выглядела типичной классной дамой. Ее высокая грудь ошеломляла, на воротнике — белый рюш... и часы с цепочкой. Когда она подавала чай, никто и слова не решался сказать: непререкаемая правительница дома. Ей заметно уступал худощавый муж. Выглядел он очень хорошо, с маленькими ухоженными усиками — я подумала, он похож на кота. Он веселился и шутил вместе с нами, но, к сожалению, упорное молчание фру Миллер или несколько слов по-немецки, оброненные нам, вселяли какое-то натянутое, неудобное чувство.

Дождавшись разрешения, Лёка и я побежали обратно к нашим куклам. Глядя на одну из них, мне до слез стало жалко саму себя. Я нашла такую хорошенькую вязаную кофту, которая как раз подошла бы моей кукле. Но дома моими делами никто не интересовался. Надя, наша няня, потакала только младшим братьям. Фрейлейн, немка-гувернантка, конечно, читала нам сказки: что-то о Максe и Морице, непослушных мальчишках, или сказки братьев Гримм, нередко жестокие. Но ей никогда не приходило в голову что-нибудь связать. И с мамой об этом тоже не имело смысла разговаривать — она никогда не шила. Мама думала о чем-то другом, и если у нее иной раз и было время, то она играла на пианино и пела или читала книги. В самом деле, невозможно даже было попросить, чтобы она связала кофту.

Но сейчас необдуманно свершилось нечто ужасное. В удобный момент я сунула кофту в карман. Потом за мной пришла фрейлейн. Уже в прихожей меня охватил страх. Всю дорогу домой я досадовала на себя. Зачем я украла? Ведь я, собственно, терпеть не могла этих глупых кукол, с жесткими туловищами и так глупо уставившимися стеклянными глазами. Нет, мой милый игрушечный мишка намного лучше, так уютно с ним в кровати.

Если бы я только знала спасительное слово «детская кража»! Но в мое время его не существовало, и выходило так, что я стала воровкой. Неужели нельзя было благополучно вернуться домой без этой злосчастной кофты в кармане?..

Дома все было как обычно. В первой небольшой гостиной моя сестра Мария играла на пианино. Лидия занималась сольфеджио. Владимир только вернулся с катка, бросив коньки на пол. Из детской слышалось гудение — младшие братья играли с паровозиком. Папа и мама ждали нас в столовой — я пришла как раз к ужину. Но я, миновав их, направилась прямо к младшим братьям и заявила им, что они могут

играть сколько хотят со всеми моими куклами и кукольным шкафом, мне они больше не нужны. Мальчики изумились, но выглядели очень довольными. Правда, мне такое покаяние мало помогло. Я еще долго страдала, не зная, что мне делать с кофтой, и мучилась, испытывая ужасные угрызения совести. Больше в куклы я никогда не играла...

Памятный праздник день Святого Николая* отмечался в Эстонии основательно и весело. На улицы устремлялись ряженые. Они пели и веселились, стреляли хлопушками и шумели. Им открывали двери, угощали сладостями. Они заходили и к нам, и мои сестры и братья очень забавлялись, участвуя в шалостях. Только я опять попала в неприятную ситуацию. Женщина в костюме цыганки вдруг бросилась прямо ко мне и, схватив, закричала: «Вот я тебя заберу!» В том возрасте я твердо верила обычному предостережению: «Не будешь слушаться, придет цыганка и заберет тебя». Я перепугалась до смерти. Я кричала и брыкалась, охваченная жутким страхом и отчаянием, пока не почувствовала, как меня обняли мамины мягкие руки, и услышала ее голос: «Зиночка, глупышка, ты не узнала ее? Это же Наташа!» Наташа была давней подругой моей сестры Лидии. Увидев мой ужас, она сняла маску, и только тогда я успокоилась.

Как ни странно, но такое сильное переживание не означало, что я стала бояться цыган. Они всегда были мне интересны и очаровывали своими яркими нарядами, своей беззаботной гибкой походкой, своим непревзойденным равнодушием к нам, остальным. Но зато людей в маскарадных костюмах я еще долго боялась. Помню, как много времени спустя, уже гимназисткой, мне понадобилось купить тетради или ручки. Улица, где велась мелкая торговля, была довольно пустынной в слабом свете тусклых газовых фонарей. Тут я увидела и услышала празднующий день Святого Николая. Я знала, что это были лишь обычные люди, но не помогло — какой-то первобытный леденящий ужас охватил меня вновь. В панике я вжалась в запертую дверь какого-то парадного и едва осмеливалась дышать. К счастью, не заметив меня, они прошли мимо, разгоряченные и радостные.

Но даже через двадцать лет этот страх еще сидел внутри меня. Как-то в Париже во время карнавала я увидела женщину на скамейке на Бульваре Сен-Жермен. Она лежала без сознания, ее руки и голова свешивались, и под черной маской виднелось белое, как мел, лицо с ярко накрашенными губами, красными, как кровь. Я вздрогнула, подумала о Гойе и не решилась помочь ей...

* 6 декабря.

В нашем доме всегда было много музыки. Хотя мама после замужества вынужденно прервала свою художественную карьеру, пела она часто. Выступления проходили в городском концертном обществе, в соборе, на благотворительных вечерах, студенческих общинах и т. д. Она всегда выступала с успехом. Мне казалось странным видеть ее по утрам, после выступлений, еще в постели, в окружении больших букетов и с конфетти в волосах.

Родители часто устраивали музыкальные вечера дома. Иногда мы, дети, выходили здороваться с гостями. Гостиная, где в таких случаях делали перестановку, становилась большой и незнакомой. Помню, я все время делала книксены, большие руки пожимали мою руку, и все сливалось... Передо мной мелькали разные лица и разные бороды — густые и редкие; пышные усы и тонкие усы; высокие прически дам, большие синие или карие глаза; носы и рты всех видов; смешавшиеся дружеские и натянутые улыбки. Все это совершенно сбивало с толку. Но я продолжала делать книксены и думала, что конца этому не будет. Затем нас отправляли в постель. И все! Иногда дети оказывались приятной, но лишь на короткое время долей общественной жизни. Но в детской, слыша музыку где-то вдалеке, я спокойно засыпала под нее.

Когда мы жили в Дерпте, мама и папа решили, что мы, дети, должны учиться немецкому языку.

Таким образом я оказалась не в русском детском саду, а в немецком — Kindergarten. Даже дорога туда меня пугала. Она шла мимо католической церкви, окруженной кладбищем. Всегда было так жутко.

Место, где пребывали дети, тоже было мрачным, с темно-коричневыми панелями — вероятно, бывшая столовая. Толстые, высохшие немцы заставляли нас ходить по кругу и петь немецкие песни. Одной из них была поучительная «Fuchs, Du hast die Gans gestolen, gib'sie wieder her»*. Того из нас, кто уставал от пения и начинал играть сам с собою, в наказание ставили в угол. Остальные собирались вокруг, показывали пальцами и говорили: «Pfu! der Schande! Pfu! der Schande!»**. Все это меня приводило в совершенную тоску. И тогда каждое утро перед выходом в детский сад я начала бастовать, изображая головную боль, пока наконец не избавилась от этой муки.

Очередная попытка привить мне знание немецкого языка состоялась в немецкой школе. Там должны были начаться занятия у сестры Марии, а мне, еще достаточно маленькой, разрешили присутствовать

* «Лиса, ты украла гуся, верни его обратно» (нем.).

** «Фу, как стыдно!» (нем.).

на уроках и слушать. Наше появление в классе вызвало бунт. Немецкие девочки объявили учителям, что они не хотят учиться с русскими в своей школе, она предназначалась только для немцев; нам — «Russische Schweine»* — нечего было тут делать. Выдержав несколько столкновений, Мария разозлилась и высказалась в ответ, назвав их «Schweine» и «Wurstmacher» — немцы в старой России были известны именно как производители хороших колбас. Случился переполох, и наше пребывание в этой школе вскоре завершилось.

Следующим шагом стали для нас частные уроки, но даже они закончились скандалом. Вместе с нами занимались два немецких мальчика, а учили нас две сестры, незамужние и неприятные. Как-то один из мальчиков набедакурил, но вину бесстыдно свалил на другого. Мария и я, на глазах которых все произошло, защищали невиновного. К нашему негодованию учительницы вызвали своего брата. Он отшлепал ни в чем не повинного мальчика и силком поставил его, плачущего, в угол. После чего последовало обычное: «Pfiu der Schande!» Возмущенная несправедливостью и насилием, Мария бросилась вперед и дала виновному звонкую пощечину. Нас немедленно заперли в одной из комнат. Вначале мы бушевали, особенно темпераментная Мария, но через некоторое время сбежали через окно. Целый день мы бродили по улицам и обдумывали наше положение. Мы понимали, что учительницы наябедничают маме. Как отреагируют наши родители?.. В конце концов голод вынудил нас вернуться домой. Не помню, чтобы мы получили нагоняй, когда Мария разъяснила произошедшее. К нашей радости, мы избежали частных уроков. Впоследствии Мария пошла учиться в русскую государственную женскую гимназию, а для младших в семье пригласили немку-гувернантку. Немецкому языку я училась у нее, у Беллы и других моих подруг. Но о немецкую педагогику я обожглась.

С раннего детства я любила Дерпт. Уютный город с низкими домиками, с множеством садов и парков и собором. Лишь в центре стояло несколько многоэтажных домов. В детстве мы почти не покидали нашу часть города. Только когда наступало время сменить одежду на весеннюю или зимнюю, мы вместе с мамой отправлялись в центр. Там были магазины, церкви, театры и, конечно, университетские корпуса.

Возле нашего дома находилась так называемая Ремесленная управа с принадлежащим ей большим садом, где в пруду плавали лебеди. В саду мы играли с Беллой и другими детьми. Как играли? Как и везде

* «Русским свиньям» (нем.).

в мире: качались на качелях, возились в песочнице, прыгали через скакалку, играли в шарики.

Во что мы играли дома? Куклы, как известно, мне не нравились — они не давали пищи для фантазии. Иногда случалось, что я по доброй воле играла со своими младшими братьями в поезд. Стулья служили вагонами, а мальчики были пассажирами.

Артистические выступления мамы с сопутствующими букетами цветов и конфетти в ее волосах тоже что-то давали к размышлению и будили воображение. Однажды, рассказывая о Моцарте, мама назвала его «ein Wunderkind». «Вундеркинд» — это можно попробовать. Я прицепила себе длинную косу, сплетенную из нескольких полосок ткани. В комнате, представленной концертным залом, расставила в ряд пустые стулья и, когда публика заняла свои места (стулья остались пустыми), вышла с глубокими реверансами. Я села за пианино, то ешь за обеденный стол, и заиграла. Пальцы искусно и легко порхали по клавишам, музыка лилась, успех был полным. Чрезвычайно собранной, с красивым реверансом, я приняла розы...

Позже я увидела одного настоящего вундеркинда — скрипача Яшу Хейфеца. Родившийся в 1901 году, он был уже виртуозом, когда давал серию концертов в Дерпте. Одетый в черный бархатный костюм с белым кружевным воротником, уверенный в себе, он сдержанно и с достоинством выдерживал бурю аплодисментов публики. Моя сестра Мария влюбилась в него до смерти. И ей повезло: во время своего пребывания в Дерпте Яша остановился в соседнем с нами доме. Все свободное время после школы Мария проводила в саду, внимая его скрипичным упражнениям и надеясь хотя бы мельком повидать его. Один-единственный раз он вышел на балкон. Для Марии это стало большим, незабываемым событием.

В целом мы, russische Schweine, жили счастливой жизнью. Правда, в раннем детстве я не так часто общалась с отцом. Было правило — мы не должны беспокоить его. Папа действительно много работал. Он возвращался домой из клиники или после каких-то лекций и, выпив чаю, продолжал работать. Если мы и видели его, то только пишущим или читающим.

Старшие — брат Владимир и сестра Лидия — не приносили много огорчений. Мария, наоборот, вызывала в семье большое беспокойство. С ней было трудно не только братьям и сестрам, но и родителям. Меня иногда пугали ее темпераментные вспышки и перемены в настроении от радости до депрессии и угрюмости. Но нас, наказывая, никогда не пороли.

В апреле растаял снег в Дерпте. Слышно было, как по улице покатались первые дрожки и по мостовой зацокали конские копыта. Звук проникал в открытые окна, и мы стали как одержимые, неугомонные при мысли, что скоро отправимся в Крым на летние каникулы. Целую неделю накануне отъезда нас было совершенно невозможно унять. Вздурораженные, мы бегали по квартире и мешали остальным. Мама решала, что необходимо взять с собой, а фрейлейн упаковывала нашу одежду в плетеные сундуки и кожаные чемоданы. Мы подсовывали ей все, что хотели взять с собой. Самыми важными для меня были маленький игрушечный мишка и моя подушечка «думочка».

На кухне наша кухарка Мари затеяла грандиозную стряпню, готовя припасы нам в дорогу. Думаю, папа и мама полагали, что большой семье будет трудно ходить в вагон-ресторан: ведь мальчики слишком малы, чтобы долго и спокойно сидеть за столом, да и я тоже. Кроме того, недешево обошлось бы питание девяти-десяти человек в такой долгой поездке.

Мари, бедняжка Мари, которая всегда была так добра к нам, буквально шипела от злости во время этих приготовлений. Я пишу «бедняжка», потому что у нее было ужасное родимое пятно почти в поллица. Пятно так бросалось в глаза, что на нее старались не смотреть. Но она была первоклассной кухаркой, а по отношению к нам, детям, — ангелом. Русский язык Мари знала плохо и не всегда внятно объяснялась по-немецки, но нас она понимала. Впрочем, как большинство эстонцев, она была не особенно разговорчивой. Она никогда не жаловалась, хотя ее рабочий день длился по шестнадцать часов, и обитала неприхотливо в кухонной каморке.

Накануне отъезда даже речи не заходило, чтобы дети посмели сунуть нос на кухню. Большая корзина заполнялась провизией: пирогами с мясом и яблочным повидлом, котлетами, цыплятами, крутыми яйцами, ветчиной, колбасой, хлебом, булками и печеньем.

Наконец наступил день отъезда. Но прежде чем отправиться в путь, по старому русскому обычаю мы ненадолго сели и помолчали. Только после этого можно было начинать путешествие.

Заранее наняли трое дрожек. В одних ехали мама, папа и старшие сестры. Другие заполнили исключительно багажом; еще и позади каждой коляски были привязаны большие чемоданы. А в третьих дрожках сидели мы, младшие, с фрейлейн.

Поезд Дерпт—Санкт-Петербург не отличался особенными удобствами, ведь здесь проходила только ветка. Вагоны тесные и перегретые, было душно. Меня, чтобы не укачало, немедленно отправили спать. Но, поскольку мы отправлялись вечером, в любом случае наступало время сна.

Наутро, после чая и бутербродов из корзины Мари, все опять стало хорошо. Незабываемые мгновения, когда мы проезжали Нарву. Здесь, как я узнала, когда-то сражались шведы и русские. Две большие крепости угрожающе стояли друг напротив друга, разделенные бурной и пенистой рекой Нарвой. Хотелось, чтобы поезд замедлил скорость и разыгралось бы воображение.

Теперь эти крепости сравнивали с землей: их разбомбили во время войны в 1941-м. Река Нарва, усмиренная электростанцией, превратилась в жалкий ручей. Но тогда... тогда взор манили леса и поля с подснежниками и первоцветами. А если присмотреться внимательнее, можно было увидеть даже фазанов или косуль — ведь мы проезжали через охотничьи угодья немецких баронов.

Последние часы, сидя как на иголках, мы старались разглядеть какие-нибудь знаки того, что приближаемся к Петербургу. Каждый метался от окна к окну в радостной надежде стать первым, его заметившим.

Наконец-то! Из бесконечных болот вокруг города поднялись первые заводские трубы и потом несколько подъемных кранов. Вот теперь можно собираться, укладывать все свои пожитки, одеваться и ждать снова.

Поезд медленно въехал на Николаевский вокзал. Вокзал ошеломил и напугал. После спокойной жизни в Дерпте нас внезапно окружило множество людей, которые галдели и бранились. Атмосфера была накаленной. Багаж требовалось пересчитать, а номер носильщика записать. Мало того, кто-то должен был следовать за ним — никогда не чувствовали себя в безопасности от воров. Нас предупредили, что в такой давке они могут появиться в любой момент. Страх перед опасными дядями, который тогда внушался, сидит во мне до сих пор.

В открытую дверь в зале ожидания для пассажиров третьего класса была видна серая масса крестьян и рабочих. Люди полулежали на скамьях или сидели на своих мешках. Из дверного проема пахло затхлостью, когда мы, направляясь к выходу, проходили мимо.

На площади у вокзала стоял впечатляющий памятник — как я узнала, царю Александру III. Но я видела только постамент с массивным конем-тяжеловозом (арденом), верхом на котором сидел

толстый квадратный человек с саблей. Про памятник обычно говорили: «На площади — бегемот, на бегемоте — идиот, на идиоте — шапка, на шапке — крест, кто угадает — того под арест».

На открытом пространстве площади была такая же толчея, как и на вокзале. Извозчики в высоких шапках и с красными поясами наперебой предлагали свои услуги. Продавцы в белых передниках и с большими корзинами на голове, заполненными свежими батонами и булками, выборгскими кренделями, пирогами или колбасами, нахваливали свой товар и в рифму, и в стихах всем мимо проходящим. Повсюду шум и гам, толкотня и ругань. Судорожно я вцепилась в руку кого-то из наших, и только когда села на дрожки, успокоилась и начала с любопытством осматриваться вокруг. Коляска почти беззвучно катилась по Невскому проспекту: главная улица напоминала паркетный пол, выложенный восьмигранными деревянными плашками. Мимо нас проехал элегантный экипаж — возможно, там сидел генерал в красивом мундире или гвардейский офицер со своей избранницей. Настоящие ардены тянули трамваи и грузовики. Любопытство нарастало, воображение разыгрывалось.

Мы миновали Гостиный двор, где люди теснились у магазинов, проследовали мимо Казанского собора и Адмиралтейства с золотым шпилем. Когда, наконец, добрались до Невы и выехали на длинный мост, то не знали, в какую сторону смотреть — столько всего происходило. Хлопотливые буксиры тянули за собой баржи, и вверх и вниз по течению шли самые разные суда. Повсюду чувствовалось биение жизни.

Когда я была маленькой, в Петербурге мы останавливались только на один день. Мои тетя и дядя Оболенские недавно переехали в Петербург, и у них была большая квартира на Васильевском острове. Но разместить нас на ночлег они не могли. Мы, дети, были рады встретиться со своими двоюродными сестрами и братьями, несмотря на то что здесь, в городе, они казались нам какими-то чужими. Они так ужасно хвастались Петербургом, что мы чувствовали себя родственниками из деревни, хотя я сама родилась здесь, а они родились в провинции и жили там до недавнего времени.

Еще один заветный визит был к бабушке (папиной маме)*. Первое, что я помню о ней, — как она вышла в прихожую, нежно взяла меня за руку и сказала: «А вот и маленькая Зиночка. Дай-ка я посмотрю на тебя, детка». Потом она повернулась к другим со словами: «Что это вы говорите, что у нее нет бровей? Конечно есть!» Я поняла, что это говорилось обо мне и что это не особенно лестно.

* Вера Александровна Яроцкая, урожденная Дьякова.

Много-много раз я смотрелась в зеркало, чтобы с трудом удостоверить: да, реденькие брови были, но — ах, какие они светлые!

Там, у бабушки, появилось у меня чувство неуверенности в себе и сформировался один из комплексов, которые так мешают в дальнейшей жизни.

Вечером мы должны были ехать дальше. Последовала та же самая процедура, что и накануне в Дерпте, по упаковке чемоданов и корзин, такая же поездка на дрожжах, такой же топот копыт и свист кнута в воздухе. Между тем на город опустились сумерки, и мне представлялось, что он купается в свете. Горели вывески магазинов на Невском, освещены внутри трамваи, время от времени нас обгонял автомобиль с зажженными фарами, и уличные фонари выстроились, как мне казалось, в бесконечные ряды.

Мы прибыли на тот же вокзал, что и несколькими часами раньше, и вскоре устроились в спальном вагоне. По сравнению с поездом из Дерпта, в этом было роскошно. Нас немедленно уложили спать, и я долго лежала и слушала. Если бы вы знали, какие фантастические голоса у поездов в России!

Вначале, вероятно, я услышала наш паровоз. Мощным басом он сказал: «У-у-у». Издалека веселым тенором ответил ему другой. Еще один вступил приятным баритоном, и напоследок вмешался паровоз с голосом резким, будто раздраженным. Мне казалось, он спрашивает: «Что же ты стоишь?! Давай вперед! Нечего ждать, поезжай!» Раздался первый звонок, потом второй, третий, и, наконец, резкий свисток стрелочника. Тормоза заскрежетали, запищали; наш состав, резко дернувшись, взял разбег и отправился в свое долгое путешествие. Тут я уснула.

Следующим утром мы проехали Тверь и Москву. Москва всегда разочаровывала: из поезда было невозможно увидеть сам город или Кремль. Лишь какие-то фабрики, деревянные дома в пригороде, уходящие в бесконечность железнодорожные пути, тут и там круглые железнодорожные депо. Переводили стрелки и таскали нас вперед и назад. И вот это все называлось Москвой!..

Очередная большая станция — Серпухов. Там было более интересно. Из поезда мы видели монастыри, окруженные кремлевской стеной, и церкви с куполами золотыми или синими с золотыми звездами (правда, больше они были похожи на обернутые луковицы). У вокзала располагалась большая площадь, где можно было увидеть стоящих у телег крестьян в лаптях. И еще больше церквей. Мне было интересно — сколько же церквей и монастырей может оказаться в одном городе? Но в самом Серпухове я никогда так и не побывала.

После стоянки в четверть часа поезд отправился дальше. В то время, когда мы жили в Советском Союзе и мой муж Рольф был послом, Серпухов оставался закрытой зоной для иностранных дипломатов. Только с шоссе были видны церкви и монастыри — почти руины.

На больших станциях мы выходили на перрон немного подышать свежим воздухом. Как-то Владимир взял меня с собой посмотреть на наш локомотив. По-детски наивно я полагала, что всю дорогу он у нас один и тот же. Паровоз казался усталым: фыркал, выпускал пар и шипел «чш-ш», будто запыхался. И так хотел пить! Вода нескончаемо лилась ему в горло.

Потом, с новыми силами, он продолжал свой путь через поля, луга и леса. Час шел за часом, и, чтобы немного развлечься, под ритм поезда мы учили слово «картошка» на разных языках. «Картошка, картошка, картошка», — начинал он, отправляясь в путь. «Картофель, картофель, картофель», — слышалось, когда поезд шел быстрее. «*Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre*», — выстукивал он в поле, и «*potato, potato*», — отдавалось эхом в лесу.

Уже цвела черемуха и распускалась сирень, и березы стояли совсем зеленые.

Началась степь — незабываемая и прекрасная, простираясь в цветении, насколько хватало взгляда. Километры мы ехали по красным коврам мака, сменившимися другими бесчисленными цветами. Это было как сплошное цветочное море. Иногда мы замечали каких-то полудиких лошадей или холм. Папа говорил, что такие холмы могли быть могилами времен скифов или викингов, что, конечно, будило наше воображение и вызывало массу вопросов. Когда мы проезжали деревни и усадьбы, то иногда видели мальчишков-пастухов и стадо. Мальчишки часто бежали вслед за нашим поездом с криком: «Га-зе-та, га-зе-та». Они просили газету. Возможно, кто-то в их деревне знал грамоту и мог вслух прочесть другим, что происходит в мире.

Белгород — станция, где на ехавшего в поезде Александра III было совершено покушение. Многие вагоны оказались совершенно разбитыми. Я подумала, что «покушение» — страшное слово, которое приводит к мыслям о крови и смерти. Теперь там стоял какого-то рода религиозный памятник — в память о счастливом спасении царской семьи*.

* В воспоминаниях смешались два трагических события: покушение народовольцев на Александра II с попыткой взорвать императорский поезд под Москвой 19 ноября 1879 г. и крушение поезда Александра III у станции Борки, в 50 км от Харькова, 17 октября 1888 г.; у места катастрофы были воздвигнуты часовня и храм Христа Спасителя.

Большой праздник выдался у нас на станции Лозовая. Стоянка длилась полтора часа. Мы все пошли в ресторан и ели чудесный горячий борщ, что стало истинным наслаждением после сухого пайка из корзины Мари и вечного чая. Но полностью этому удовольствию мне предаться не удалось — я все время боялась опоздать на поезд.

Много что происходит в такой долгой поездке, как наша. Все знакомятся друг с другом. У нас вскоре появились товарищи по играм, и мы вместе бегали длинными коридорами или лазали вверх-вниз по полкам в купе. Однажды ночью я свалилась с верхней полки на пол, но даже не проснулась. Если мы становились невыносимыми, мама или кто-то из старших братьев и сестер читали сказки нам, младшим, или играли с нами в домино.

В какой-то злополучный день Алик, ему было тогда примерно два года, опрокинул себе на ногу чайник с кипятком и сильно ошпарился. Мама была в отчаянии. Участливые соседи по купе прошли из вагона в вагон весь состав и в конце концов нашли врача. Потом почти всю ночь мама ходила взад-вперед с плачущим Аликом на руках.

А в другой раз Алик бесследно исчез. Через несколько часов он вернулся очень довольным, держа в руках большую коробку с шоколадом. Где он ее взял? Мама расстроилась, но беспокойство оказалось напрасным. Во время своей исследовательской экспедиции по поезду Алик увидел спящего старика и, не знаю почему, проникся к нему сочувствием. Он погладил и поцеловал спящего, оказавшегося каким-то генералом. Тронутый такой теплотой, тот подарил Алику большую коробку шоколада, который потом мы все ели с удовольствием.

Чем дальше мы продвигались на юг, тем теплее становилось. Окна открывали, несмотря на дым от паровоза, и наслаждались теплым ветром и запахом цветов. К искрам, летящим целыми потоками, мы относились спокойно, даже если они стремились попасть нам в глаза... и иногда это случалось...

Опять наступил вечер. Усталые, покрытые сажей, слегка раздраженные, хнычущие и сонные, мы легли спать. Безустанный монотонный звук поезда укачивал. Время от времени, просыпаясь ночью, когда поезд останавливался на неизвестной станции, мы спрашивали — где мы? — и засыпали снова.

Ранним утром завершился второй этап нашей поездки. Совершенно ослепленные солнцем, прищурившись, пораженные неожиданным теплом, мы сошли с поезда на платформу в Симферополе. И не успели осмотреться, как нас мгновенно окружили полуголые мальчишки-цыганята, шумно предлагавшие вишню, черешню и дивные розы.

Но к их и моему разочарованию, не было куплено ничего. Папа объяснил, что фрукты следует есть, вымыв их прежде кипяченой водой, иначе можно заболеть тифом.

На площади перед вокзалом нас ждали заранее заказанные коляски. И какие! Широкие, с чудесными подушками, в которых человек почти тонул, с мягкими рессорами и блестящими крыльями. В каждый экипаж было запряжено по три лошади — красивые, до блеска вычищенные. Их упряжь сияла латунной обивкой, в гривы вплетены красные ленты, а на шеи надеты синие ошейники с бубенчиками. Синий цвет на Востоке встречается повсюду: считается, что он приносит удачу. Если кучер не мог украсить свою лошадь синим ошейником, то прикреплял синие шарiki хотя бы на недоуздок. Было весело и интересно сидеть в такой коляске. Прямо со станции мы отправились к Марии Петровне, Питохе, как мы ее называли.

Город Симферополь, главный город в Крыму, был типичным южнорусским городом с низкими одноэтажными или двухэтажными домами, белеными известкой. В многочисленных садах цвели розы и манили своим блеском вишня и черешня. По обеим сторонам широкой улицы стояли каштаны, тополя и акации.

В одном из таких одноэтажных домов жила Питоха. Нам уже приготовили горячую воду — действительно нужно было как следует вымыться. Чувствовалось, как копоть после поезда липла к телу на такой диковинной жаре, которая встретила нас на юге. Дивный завтрак с ароматным хлебом, золотисто-желтым маслом, яйцами, колбасой и сыром завершился полными тарелками клубники и черешни.

Мария Петровна — давний и надежный друг семьи — была самоучкой и дельным организатором, умной и порядочной. Ее личная жизнь, однако, оказалась безотрадней. Несмотря на то что она была скорее некрасива, чем красива, она дважды выходила замуж. И оба раза оставалась вдовой. Для нее, бездетной, работа и общение с другими людьми стали единственным утешением. С моим дедом она познакомилась благодаря своей работе в земстве — местном органе самоуправления, высокоценимым членом которого она была.

После очень приятной остановки у Марии Петровны начался последний этап — наша поездка через горы. Отдохнувшие и бодрые лошади весело бежали рысью по городу и вдоль извиляющейся реки Салгир, по берегам которой здесь пышно росли сады. Пригород закончился и сменился небольшими белыми, розовыми и синими дворами, где жили украинские крестьяне. Их хаты окружало изобилие мальвы и подсолнухов.

Навстречу нам, по дороге в город, двигались бесчисленные повозки. Многие из них напоминали виденные в американских вестернах — с брезентом, натянутым как крыша, для защиты от солнца и дождя. В такой повозке, вероятно, сидел татарин в типичной шапке из овечьего меха и его жена с тысячью косичек под круглой бархатной шапочкой, украшенной серебряными монетами. Или, возможно, ехали казаки — загорелые темные мужчины и женщины с миндалевидными глазами. Или еврейский купец с пейсами и бородой, одетый в длинный черный кафтан. Евреи могли свободно жить в Крыму, поэтому в Симферополе существовал целый еврейский район, где жило большинство православных евреев. Армяне и греки также передвигались на повозках и тоже занимались коммерцией. Нередко можно было увидеть и цыганский табор, раскинувшийся на равнине, с мужчинами и женщинами в пестрых одеждах.

Поля постепенно заканчивались, и местность становилась все более холмистой. Лошади начали выказывать признаки усталости и перешли на шаг. Еще через 15-20 километров мы подъехали к нашему первому месту отдыха. Мамут Султан — так оно называлось и выглядело как настоящий караван-сарай. Помню огромное количество разных повозок и животных. Глина, конский навоз, мухи и палящее солнце. Здесь мы поменяли лошадей и потом продолжили путь вверх. Лошади стали мокрыми от пота.

После 10–15 километров мы расположились возле нескольких больших буков и тополей на второй стоянке, Ангáре. Под деревьями — прохлада, от журчащего ручья — приятное дуновение. Мы уселись в тень в ожидании угощения. Здесь уже не оставалось русского: еду — плов или шашлык — подавали официанты-татары в белых фартуках, а на головах у них были овечьи шапки.

После Ангáры начался настоящий подъем. Мимо почтовой станции Ташкан-Базар дорога пошла через вековой ветвистый буковый лес. Когда я вернулась в Крым в 1950 году, с грустью увидела, что этих великолепных деревьев вдоль дороги уже не осталось. Немцы, страшая партизан, приказали русским военнопленным вырубить их.

Крутые повороты следовали один за другим, лошади переступали медленно и дышали тяжело. Иногда мы выпрыгивали из коляски и бежали рядом, чтобы размять онемевшие ноги. Вдруг мы увидели большой крест, вырезанный на стволе дерева. Кучер рассказал, что недавно на это самом месте разбойники напали на почтовый дилижанс и убили возницу и почтальона. Разбойники, конечно, были еще на свободе и прятались где-то поблизости в лесу?.. Я вздрогнула и живо прильнула к маме.

Наконец мы достигли самой высокой точки дороги — Перевала. Все выскочили, чтобы увидеть далеко у горизонта полосу Черного моря. Мы ликовали. По обе стороны дороги стояли горы: позади нас — Чатыр-Даг, самая высокая гора в Крыму, а впереди — Демерджи (названная русскими «Голова Екатерины»). Лошадям дали возможность отдышаться, пока приделывали колодочный тормоз под задние колеса. Отсюда дорога шла только вниз.

Во время спуска кучер ловко орудовал вожжами на крутых поворотах. Лошади почти садились на задние ноги, стараясь сдержаться толкающую их сзади повозку. А нам, чтобы не выпасть, приходилось очень крепко держаться. Так постепенно мы спустились вниз и поехали по ровной дороге вдоль реки Улу-Узень. Лошади пошли рысью, очевидно, радуясь, что самая тяжелая часть дороги миновала.

Прежде чем мы добрались до небольшого рыбацкого и курортного городка Алушта, потянулись обширные, такие для нас дорогие и знакомые виноградники.

Не останавливаясь в городке, мы проехали еще 8 километров вдоль берега в нашу собственность — Саяни. На мысу небольшой реки или, скорее, ручья Кара-Узень уже стояли все братья и сестры Оболенские и тетя Илюшка*, чтобы поздравить нас с приездом.

Мы добрались! Все было так, как и должно было быть. Бабушка и дедушка** стояли возле старого дома, покрытого цветущими розами и жасмином. Необычная розовая мимоза полностью расцвела и выглядела словно нежно-розовое облако. Большая сторожевая собака Ячин, устрашающего вида, узнала нас и радостно виляла своим пушистым хвостом.

Вечером, когда кровать подо мной еще качалась после долгого путешествия на поезде и в коляске, в окно полился южный крымский аромат, разнеслось стрекотание сверчков и маленькая сова известила: «сплю, сплю». Теперь можно было спокойно заснуть и нам — очень уставшим и безмерно счастливым...

Имение принадлежало нашей семье еще с XVIII века. Бабушкины (маминой мамы) предки французского происхождения были возведены в дворянство и получили имение в лен. Нашими ближайшими

* Леонида Владимировна Винберг.

** Леонида Францевна фон Шлейден и Владимир Карлович Винберг, родители Антонины Владимировны.

соседями были немцы; дальше располагалось имение князя Мурата, позже перешедшее в собственность семьи Эрлангеров. Большие куски пирога перепали также и русской аристократии. Татарам осталась лишь узкая полоска пахотной земли, право пасты в горах овец и лошадей и в лесах заготавливать себе дрова.

Поскольку предок моей бабушки был французом, он пригласил французских садовников для планировки и оформления имения. Я восхищаюсь этими искусными мастерами. Они посадили вьющиеся розы и жасмин напротив главного здания, рядом — кипарисы и магнолии, а площадку перед домом окружили розами и кустами граната. Лавровые деревья и декоративные кустарники давали тень и прохладу. Длинная аллея с оливковыми и миндальными деревьями подводила к дому. Группы кипарисов росли на самых красивых смотровых площадках. Садовые мастера разбили и наши виноградники, соединив их между собой и засадив разными сортами винограда, французскими и испанскими, с почти завораживающими названиями, как то: Изабелла, Аликанте, Сотерн, Шасла, Мускат, [Черный] Коринф. Выше по склону остался дикий нетронутый парк — мы называли его «леском», — прорезанный восходящими и петляющими дорожками. На вершине, где росли пинии и кипарисы, позже было устроено наше частное кладбище.

Самыми важными из хозяйственных забот были изготовление вина и выращивание табака. Мамин брат Владимир сам управлял имением с помощью старосты Федора и нескольких постоянных работников. Другую группу составляли батраки — бедные турки, наверное, безработные дома, они приезжали в поисках заработка. Но, боюсь, их почасовые оплачивались скорее в копейках, чем в рублях.

Табак сажали и собирали украинские девушки. До сих помню их песни — иногда веселые, иногда грустные.

Когда начинал созревать виноград, нанимали сторожей, чтобы отпугивать птиц. Специальные охотники отгоняли или отстреливали бездомных собак. Собаки, лишь один раз попробовав виноград, становились ненасытными до него. И еще сторожам надлежало следить, чтобы ягоду не воровали.

В таком большом хозяйстве работников было много. Повар — поляк, Иван Порхало, один из наших верных друзей. Бабушка, конечно, запрещала нам появляться на кухне — по ее мнению, так не следовало поступать детям из лучших семей, — но мы все же пробирались. С косою улыбкой под тонкими усами, он шутил с нами и всегда предлагал что-нибудь вкусненькое. Мы тоже считали, что вкус еды работников особенно хорош.

Шесть девушек-служанок были с Украины; некоторых из них нанимали только на лето — ведь наши родители приехали с шестью детьми и немкой-гувернанткой. Требовалась дополнительная помощь еще и потому, что, по желанию бабушки, каждый день в доме мыли все полы. Служанки — молодые и веселые девушки — пели во время работы и в свободные минуты вышивали свои красивые блузки.

Дворниками были русские. Кроме всего прочего, они качали воду для хозяйства, кололи дрова и ходили в поселок за хлебом и другими товарами. По субботам и воскресеньям они принаряжались и выглядели действительно красиво. Шапка лихо сдвинута набекрень, из-под нее привлекательно и вызывающе торчала прядь волос, под черным пиджаком надета красная, желтая или медно-зеленая русская рубаха. Кто мог устоять перед такими мужчинами?..

Прачка пришла к нам из поселка. Она была цыганкой. Я помню ее всегда в белой мыльной пене и окутанной паром. Ко мне она питала особенную слабость, не знаю почему, — так иступленно меня целовала, что облизывавливала мне все лицо. Мне она нравилась, но я предпочитала держаться на расстоянии.

Нам, детям, строго-настрого запрещали есть виноград до тех пор, пока он не созреет. Объяснялось это не скупостью, а лишь страхом перед желудочными заболеваниями. Но в жару, изнемогая от жажды, мы не всегда могли устоять. Тогда появлялся Осман, старый сторож, который гнался за нами с грозными криками: «Только подождите, негодники такие! Вот я вас поймаю и отрежу уши!» Убегая изо всех сил и, наверное, в глубине души сомневаясь в реальности угрозы, я все же очень боялась. Несколько раз ему удавалось поймать кого-нибудь из нас, но тогда он лишь смеялся беззубым ртом, довольный нашим испугом.

Вы, возможно, хотели бы спросить, почему он грозил отрезать уши. По давней турецкой традиции, вор, пойманный за небольшую кражу, лишался ушей. Если кража совершалась крупная, человеку отрубали руку.

До сих пор мне становится стыдно, вспоминая, что эти бедные люди — турки и татары — нас приглашали иногда с ними поесть. Но в то время мы не осознавали ни их изнуряющей работы, ни их нищеты. Завтракали они деревенским хлебом с чесноком, иногда помидорами или перцем. И больше ничего. Нам такая пища была в диковинку, а потому заманчива. Но после того как съешь кусок хлеба, натертого чесноком, запах оставался надолго. И дома все приходили в ужас, а бабушка просто-напросто выгоняла нас на улицу.

Здесь, на отдыхе, у меня была своя «ватага» — мои двоюродные братья Серж и Вова Оболенские и сестра Лена Винберг. Нашу ватагу все называли «ханами», не знаю почему. Наверняка это было связано с нашими буйствами.

Важную роль в моих детских фантазиях играли лошади. Моего коня звали Карагёз — «Черноглазый», чистокровный арабский скакун. Он, танцуя, быстро и нервно перебирал своими тонкими, изящными ногами. Я едва успевала вскочить в седло, прежде чем он уносил меня прочь в головокружительном галопе. Много раз я скакала верхом на этом фантастическом коне, добросовестно заботилась о нем, задавала корм и таскала воду. Заслышав его ржание, я спешила поскорее закончить обед — он же звал меня. Для остальных в семье Карагёз был всего лишь лошадкой на палке.

Услышав однажды кем-то сказанную фразу «ты не должен иметь других богов, кроме Меня»*, я глубоко задумалась над этим. «Другие боги... Значит, их должно быть много! Точно кто-то объяснял мне, что в мире, живут другие народы, которые верят в иного бога, нежели мы, и в храмах есть их изображения».

Это показалось очень интересным и дало мне блестящую идею: мы, ханы, должны иметь собственных богов. В полной тайне, разумеется. После долгих поисков мы нашли подходящее ущелье. Зимой там протекал бурный ручей, но летом он пересыхал, оставляя только несколько лужиц. В ущелье сквозь колючие кусты и заросли вела крутая и каменистая дорога. Никому бы не пришло в голову туда спускаться.

Деревья стали нашими богами. Первое, косо лежавшее, поваленное зимней бурей, назвали Кемлет. Два других — Мемлет, «мямлящее», и Дремлет, «спящее». Мы бормотали наши заклинания, лежа ничком на каменистой земле, — нельзя же разговаривать с богами обычным способом. В жертву принесли большого блестящего майского жука, утопив его в луже. Но было совершенно невесело смотреть на его отчаянные попытки спасти свою жизнь.

Между тем наши боги никак не реагировали. Они стояли где стояли и были так же непостижимы, как и другие боги. Нам все меньше удавалось разнообразить заклинания, жара в ущелье утомляла, а дорога туда становилась все более тягостной. Поэтому вскоре наши боги вернулись к своему прежнему облику, и для нас они опять стали просто деревьями.

* Исх. 20: 1.

В предобеденное время мы ходили купаться на Черное море. Долгая процедура начиналась с шествия во главе с моим папой; потом следовали тетя Илюшка, гувернантка и мы, дети. Томительный зной наступал уже к 10 часам. Цикады наполняли воздух своей неистовой музыкой, как будто такая палящая жара порождала их песни. Дорога по аллее из миндальных деревьев, через виноградники и мимо рядов кипарисов и дальше, сквозь чудесные буковые рощицы приводила вниз к морю. С запасами винограда, свежего инжира и миндаля мы устраивались на берегу, где приятный легкий морской бриз давал прохладу. Прогретая солнцем галька, и гладкие камни, и вода — соленая, теплая, мягкая морская вода — радовали нас. Вскоре к нам присоединялись наши двоюродные братья и сестры с родителями. Все обходились без купальных костюмов, но мужчины и женщины купались отдельно. Пока нам не исполнилось по десять лет, мы, дети, пребывали в обоих лагерях.

На следующий год в нашу семью пришло несчастье: тяжело заболела мама. После серьезной ангины, вызванной стрептококком, маму поразила базедова болезнь. За несколько месяцев она настолько похудела, став тонкой и слабой, что ее едва можно было узнать. Я не очень понимала, что происходит, но одно стало ясно: нашей семье угрожает что-то ужасное и злое. Достаточно было увидеть папины озабоченные и печальные глаза, чтобы это понять.

Несмотря на высокую медицинскую компетентность всех, к кому обращались за консультацией, зоб у мамы вылечить не смогли. Наконец папа, используя последний шанс, поехал с ней в Швейцарию к известному в то время хирургу профессору Коху. Он сделал операцию, но мама уже никогда не смогла полностью восстановить свои силы.

Во время поездки родителей в Швейцарию мы, дети, оставались одни и чувствовали себя всеми покинутыми. Через несколько месяцев приехала наша тетя, Ольга Оболенская, чтобы взять нас с собой в Крым. Она пришла в ужас от того, что увидела. Не знаю, что вменялось в обязанности гувернантке и другим работникам, отвечавшим за нас, но дела были плохи. Так, у меня завелись вши, и я даже помню свой страх перед острым гребнем, которым вычесывали мои кудрявые волосы...

Зиму мы жили у маминих родителей в Ялте. Их особняк — большое каменное здание, покрытое вьющимися розами и другими растениями, — стоял высоко, с видом на Черное море и гавань с изящным волнорезом и маяком. Типичный для юга сад: ранняя розовая

магнолия и белая магнолия с блестящими листьями, розы, мимозы, олеандр, кипарисы и пинии. Вдоль тропинок рос самшит. Сад граничил с так называемым парком Эрлангера с постепенно восходящими дорожками для прогулок. Его уничтожили во время Второй мировой войны. Здесь, как и во многих других местах, немцы, опасаясь партизан, распорядились срубить все деревья. И вместо утопающего в зелени парка стоит теперь поросший кустарником холм.

В этом большом доме мы почти не видели бабушку. В 1909—1910 годах ей было уже 75—76 лет. Мы, дети, держались в стороне. Дедушка был председателем Ялтинской земской управы, избранного народом собрания, и много ездил по всему Крыму. Мы очень скучали по родителям, и тетя Илюшка заботилась обо всех нас. Она рассказывала сказки младшим, ласково целовала перед сном; с ней мы чувствовали себя в безопасности.

Зимой Ялта была скучной, как будто всеми покинутая... Пустынные улицы, в парках ни людей, ни музыки. Няня обычно брала с собой меня и младших братьев на прогулку — тоска смертная. Интересно было, только когда приходили осенние штормы и волны яростно, с грохотом перехлестывали через длинный ялтинский пирс и потом падали огромным каскадом. Шторм, море, необузданная природа — перед всем этим изысканный город Ялта казался иным, жалким.

У нас была хорошенькая няня — Даша. Радостная, добрая, опрятная и веселая украинка. Она охотно пела иногда грустные, а иногда веселые песни — зависело от ее настроения. К нашему большому огорчению, ей пришлось оставить работу отчасти из-за ее выдающегося таланта — рассказчиком она была от бога.

До сих пор помню невысокую керосиновую лампу с зеленым абажуром, мягко освещавшую комнату, и как тени дрожали и расплывались на стене.

«Даша, пожалуйста... — умоляла я. — Даша, расскажи сказку». Уговаривать ее приходилось недолго. Она садилась на край моей кровати и начинала неторопливо рассказывать об Украине, о степях, тополях, полях мальвы и подсолнухов, соловьях, о веселых праздниках и удивительных ярмарочных забавах. Но все это было лишь прологом к мистическому миру с ведьмами, чертями и волшебниками, с заветными местами и спрятанными кладами, со злокозненными выдумками дьявола. Самым жутким и самым интересным там оказывалось все-таки кладбище, где открывались могилы и поднимались беспокойные духи. В страхе, дрожа от волнения и удовольствия, я заползала под одеяло, чтобы не видеть развевающиеся в окне саваны или что-то непонятное, черное в темном углу.

В результате этих прекрасных мгновений меня по ночам преследовали ужасные кошмары; я просыпалась в холодном поту и звала на помощь. Даше было велено не пугать нас так. Она старалась изо всех сил и честно искала в своем репертуаре какие-нибудь детские рассказы, более подходящие для слушателей с живой фантазией. Но то, что она находила, оказывалось скучным и для нас, и для нее самой. И, как настоящий артист, она впадала снова и снова в тот жанр, которым владела в совершенстве.

Бедная Даша, она плакала так же безутешно, как и мы...

Во всяком случае, благодаря Даше я узнала кое-что важное в жизни, а именно: у злых сил тоже есть своя иерархия, как и у добрых. Ведь было так много ангелов: архангелы и серафимы, маленькие херувимы и ангелы-хранители. В русских народных сказках много чертей; самый маленький чертенок — мелкий проказник, не больше мартышки. Их задачами было устроить ссору, распространить клевету и сплетни, подтолкнуть человека так, чтобы он упал и ударился и т. д. Иногда они очень смешны в своих попытках напасть. Но чем больше были бесы, тем более серьезными становились несчастья, которые они устраивали. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу их козни во многом, что со мной происходило. Некоторые из их дьявольских попыток удались, в других случаях они были вынуждены уйти ни с чем.

Дед, как председатель Ялтинской земской управы, среди почетных гостей должен был присутствовать при встрече царя на причале. Дети, кроме младших мальчиков, отправились с ним. Было празднично и интересно. Мы все нарядно одеты: я в белом кружевном платье с лентой на поясе и бантом в волосах; бабушка солидный, в мундире, со шпагой на боку. Мы поехали в его элегантной коляске, запряженной до блеска ухоженными лошадьми. Стоял сказочный весенний день: сияющее солнце, на небе ни облака, горы в нежной весенней зелени и море как зеркало. В дороге от дома к причалу я помню тянущуюся длинную вереницу экипажей. Знатные дамы в светлых платьях и больших шляпах, украшенных цветами; мужчины в великолепных мундирах с шитой золотом грудью, с орденами и в шляпах с плюмажем. Это был двор — высшая аристократия и сама императрица.

Выстроился гвардейский полк; казаков и конную полицию поставили по обеим сторонам улицы. За оцеплением толпились люди в одежде, пестрящей весенними красками. Флаги, флаги повсюду. Бабушка оставил нас на трибуне, а сам спустился вниз к пристани. Видя его там, я

чувствовала, как меня охватывала гордость. В моих глазах он затмевал всех остальных — самый высокий и статный, с белой как мел бородой.

Императрицу я не видела никогда. Вероятно, она тоже стояла внизу на пристани, но среди всех этих дам в гигантских шляпах, убранных цветами и фруктами, узнать ее было невозможно.

Звучала военная музыка, создавая особую праздничную атмосферу. Сновали туда-сюда хлопотливые ординарцы. Время шло, солнце начало припекать. Наконец показалась императорская яхта «Штандарт», неторопливо скользя по воде. И аккуратно замерла у причала.

С того места, где находилась я, было отлично видно царя и его сына-цесаревича, матросов, маленькую лейб-гвардию наследника и его штаб. Игнали государственный гимн, слышались крики «ура», гремел установленный 21 залп — горы содрогались и, отражая, усиливали грохот. «Боже, Царя храни! Сильный, Державный, царствуй на славу, на славу нам!» — звучал гимн, и там, на палубе своей яхты, стоял он — всероссийский самодержец. Невысокого роста, он выглядел таким неприметным. Матросы и наследник позади него смотрелись более внушительно. Цесаревич был очарователен в своем матросском костюме. Стоя навытяжку, он принимал все чествования. В то время я уже знала, что он страдал от гемофилии, и его было так жалко.

Невозможно преисполниться патриотическим чувством по принуждению. Но вместе с тем я не избежала ощущения чего-то фальшивого в происходящем, несмотря на то что была такой юной. Я заметила: дедушку смущала навязанная роль, от которой он не мог отказаться.

Много позже я получила этому объяснение: его как представителя Таврической губернии единогласно избирали в каждую Думу. Но царь никогда не одобрял его кандидатуру. Причина была в том, что однажды мой дед поставил свое имя под петицией в пользу каких-то осужденных политических арестованных. Царь обиделся, и этого оказалось достаточно, чтобы в глазах правителя дед стал подозрительной в политическом отношении фигурой. Его положение не менялось, несмотря на то что он был либералом и состоял в партии кадетов.

Огромное количество полицейских и их жестокие способы обращения с теснящимися людьми тоже оставили горький привкус.

Тетя Илюшка уже понимала — я достаточно выросла, чтобы проводить все время вместе с младшими братьями, и решила, что мне нужно подготовиться к школе. С первой азбукой, тетрадью и ручками я гордо отправилась на свой первый урок. Учительницей была очень

милая молодая украинка. Она, заболев чахоткой, оказалась в Ялте благодаря писателю Владимиру Короленко. Он собирал средства, чтобы дать ей возможность поправиться в мягком климате Крыма. Самого его сослали на несколько лет в Сибирь. У Марии Васильевны, так звали учительницу, были чудесные волосы, высоко собранные в большой узел, с маленькими-маленькими прядками на шее. Веселая, с юмором, она, если требовалось, бывала и строга.

Моим единственным одноклассником был Воля, соседский мальчик, а также верный друг во всех играх. Вместе нам было весело. Мы остались друзьями на всю жизнь, а в настоящем — он поддержка для моей сестры Лидии. Приезжая к нему и его жене, Лидия может наслаждаться лесами и лугами и отдохнуть от жары и пыли в Москве, где у нее дом.

Последнее из воспоминаний ялтинского времени — в какой-то день моя мама, хорошо укрытая одеялами, лежала под солнцем на террасе. Расстроенная, она держала в руке газету. «Зиночка, — сказала она мне. — Это горько и страшно. Умер Лев Толстой. Вся Россия скорбит о его смерти». Такой была его известность и так читали его большие романы, что его уход переживался как нечто касающееся каждого из нас. Я знала, кто такой Толстой, — мне уже читали его детские сказки. Когда он умер в 1910 году, мне было 7 лет.

К 1917 году население Крыма достигло полумиллиона человек. Среди них насчитывалось 270 тысяч русских и украинцев. Следующую самую большую общину составляли татары. За ней — евреи. Потом немецкие колонисты, владевшие лучшей пахотной землей в северном Крыму. Греки, болгары, армяне, поляки и другие — возможно, караимы, крымчаки и цыгане — составляли остальную часть населения.

Немецкие колонисты селились на равнинах. В нашем горном районе крестьянами были исключительно татары, точнее, смешанное первоначальное татарское население и турки. Их язык был турецким диалектом.

Наши отношения с татарами складывались очень хорошо. Мой дед своими усилиями в земской управе внес большой вклад в улучшение условия жизни крестьян. Он с большой энергией вел целенаправленную и упорную борьбу с царскими органами власти из-за строительства дорог, школ, больниц или, по крайней мере, амбулаторий. Но самым важным стало создание сельскохозяйственного банка, где крестьяне могли получить деньги под низкие проценты и не попасть

в лапы греческих или еврейских ростовщиков. Благодаря этому для нас, его внуков, были открыты все двери.

Бабушка, в молодости научившаяся свободно говорить по-татарски, дружила со многими крестьянками. Мне довелось побывать на одном из ее приемов, возможно последнем, специально устроенном для них. На большой террасе постелили ковры и поставили маленький низкий столик. Гости пришли вместе, группой; все одеты хорошо, в лучшие национальные костюмы. Камзолы красиво вышиты, местами серебряной или золотой нитью; пояса с пряжками из серебра и бирюзы. Темные волосы, заплетенные в множество мелких маленьких косичек, виднелись из-под черной бархатной шапочки с висящими серебряными монетами. Хной были выкрашены волосы, а также хорошо ухоженные ногти на руках и ногах.

На нас произвело сильное впечатление, с каким достоинством эти женщины двигались и говорили. Они сидели на полу, скрестив ноги, и пили турецкий кофе со сладким печеньем. Прием длился несколько часов. Старшие женщины говорили, младшие молчали. Бабушка предложила одной из младших спеть песню. Когда-то бабушка сама пела вместе с ними. Мы слышали грустную песню, простую песню печалующейся женщины. Речь шла о девушке, влюбленной в красивого, но бедного учителя. Ее отец отказал несчастному, потому что хотел выдать ее замуж за старого богача.

В Крыму мы, русские, придерживались своих понятий и обычаев, а татары — своих. Но все мы жили в согласии.

Имение родителей моей мамы в Крыму считалось средним по величине. Оно тянулось от татарской деревни Биюк-Ламбат вниз, до самого моря. Кроме старого жилого дома, где обитали мы, был дом брата матери Анатолия — каменный особняк с 12 комнатами, расположенный в чудном месте и с прекрасным видом на горы и море. Вдалеке стоял одноэтажный дом семьи Оболенских, довольно маленький, но симпатичный. Мы, дети, часто бегали друг к другу через сад и парк.

Время пролетало в приятном спокойствии. После завтрака тетя Илюшка хлопотала по хозяйству. Я только сейчас понимаю, сколько хлопот свалилось на нее. Раньше я уже говорила, как много нас собиралось там каждое лето — кроме тети Илюшки, глухой мамин брат Владимир, а также папа и мама с шестью детьми и гувернанткой. Часто к нам приходили гости и не менее часто оставались у нас пожить некоторое время.

Дядя Владимир взял на себя ответственность по уходу за имением. Его то и дело можно было видеть вместе с дедом за бухгалтерскими книгами, обсуждающими важные вопросы. Папа в белом шелковом костюме и соломенной шляпе, с тростью и стопкой книг подмышкой отправлялся на свое любимое место — мыс с прекрасным видом на море. Там он погружался в чтение и размышления. Мама, из-за больного сердца избегавшая жары, в основном оставалась в доме. Мы, дети, мчались на берег и купались. Во второй половине дня, когда солнце скрывалось за гору, взрослые рассаживались один за другим на площадке перед домом. Наступало время общения старших. Иногда кто-то из соседей заходил нас поведать, обычно надеясь, что мамино самочувствие позволит им пообщаться. Невероятное обаяние мамы, ее мягкие очаровательные манеры и радушие очень привлекали.

Мы, молодые, не участвовали в этих долго тянувшихся чаепитиях. Я слышала то веселые, то серьезные голоса взрослых. Разговоры велись о России, о политических проблемах, да о чем угодно — о новых изданных книгах, об идеях Толстого или текущих делах в имении.

Взрослые обычно ужинали в столовой, а дети на террасе. После этого убирали с большого белого стола, и мы рассаживались с книгами, играми или альбомами для рисования. Посреди стола горела керосиновая лампа. Тысячи маленьких букашек, светлячков и ночных бабочек кружились вокруг, сгорая в огне. Что-то было нереальное в появлении самой большой бабочки, которая называлась «мертвая голова». Снаружи доносились чарующие звуки сверчков, маленькой совы-сплюшки и охотящихся летучих мышей.

Папа как настоящий ученый, скорее всего, уставал от бесконечной болтовни. Ему не хватало бесед со своими коллегами. Поэтому иногда он общался с теми, кто жил по соседству или навещал нас. Директор ялтинского ботанического сада профессор Кузнецов приезжал к нам на великолепной служебной машине. С ним были его жена и свояченица, состоявшая в браке с генералом. У этой генеральши на голове был рыжий парик, и время от времени она засовывала в него пальцы, чтобы хоть немного дать доступ воздуху. Нас, детей, это чрезвычайно забавляло.

Иногда нас приезжали навестить друзья дедушки и бабушки, владельцы больших имений в украинских степях. Они восхищались Крымом, но наше питание им не нравилось. Они привыкли к блюдам, залитым маслом и сметаной, как можно было заметить по их тучным телесам. Им не годился французский стол с легкими суфле, свежими салатами и изысканными запеканками.

Много оригиналов появлялось у нас или у наших соседей. Папиным другом был поэт, художник и философ Макс Волошин. Светлая кожа, рыжие волосы, тучный, в костюме и галстук странного цвета. Когда он не говорил с папой, то громовым голосом декламировал Мюссе или Верлена или предпочитал собственные стихи.

Однажды возник обаятельный скульптор Ефимов. Он был одержим любовью ко всему, что связано с фавнами. На берегу он обычно тоже наряжался как фавн, совершенно обнаженный, с венком на голове и рогами на лбу, и безудержно счастливым скакал вокруг к всеобщему изумлению.

По соседству с нами, в Карабахе*, жили две студентки. Они изучали античное греческое искусство и литературу и являлись перед нами, словно сойдя с изображения на греческой вазе, — в ослепительно белых туниках, стянутых поясом под самой грудью, и пряжками на плечах. На красивых коричневых руках у них были браслеты, волосы собраны в греческий узел и на ногах сандалии. Девушки предпочитали держаться в стороне, в ореоле античного света величественно скользя мимо нас. По отношению к нам, варварским существам, они соблюдали высокомерную дистанцию.

Единственным неприятным номером в этой галерее была девица, жившая у Оболенских. Она имела обыкновение жевать кузнечиков. Мне оказалось достаточно лишь один раз услышать, как кузнечик хрустит у нее на зубах, чтобы почувствовать прямо-таки отвращение к ней. Но, может быть, я была неправа? В Библии же говорится, что Иоанн Креститель питался кузнечиками и водой**. Характерная черта для России, где я выросла, — принимать многие странности. Была терпимость по отношению к оригиналам, что облегчало отношения между людьми. Разумеется, обращали внимание и комментировали нечто своеобразное, странное, но без какой-либо неприязни. Можно утверждать, что люди совершенно разные, и добавить: как же хорошо, что не все похожи друг на друга. Но есть сырых кузнечиков — думаю, это уже чересчур.

К значительным событиям лета относились так называемые экскурсии, или пешие прогулки в горы. Самая первая, в которой я участвовала, состоялась, однако, не в горы, а к морю, и у меня остались

* Карабах — имение семьи фон Келлеров.

** «Питался диким медом и акридами [вид саранчи]» (Мк. 1:6).

о ней довольно обрывочные воспоминания. Даже вспомнить не могу, как мы добрались до чудесного пляжа? — вероятно, на коляске с лошастью. Помню только раскаленный песок и камни, одинокую скалу в море, словно заброшенную туда кем-то из доисторических великанов, и помню свою гордость, что могу плавать и нырять как дельфин, лежать на спине и выделывать всевозможные штуки на воде.

Потом, утомившись, я отдыхала на берегу, позволяя маленьким волнам омывать мне ноги. Вокруг я видела гравий, камни всех цветов, ровно и красиво отшлифованные морем, а вдалеке — маму и тетюшек под цветущим тамариском. Это так мило смотрелось: три сестры, немного забавные в своих чудных купальниках, наполовину спрятались под белыми и розовыми зонтиками. После купания детей угощали соком и булочками.

О другой прогулке в горы, оказавшейся настоящим восхождением, я помню более определенно. Целью стала гора Кабель. В подобных ситуациях инициатива всегда принадлежала отцу и моему дяде Оболенскому. «Ханы», наша ребячья ватага — кузина Лена Винберг, Вова и Сергей Оболенские и я, — невероятно возгордились, получив разрешение отправиться вместе со взрослыми. Бодро и задорно мы пустились трусцой, опередив всех. Но это продолжалось недолго, наше рвение поубавилось и пришлось смириться с тем, что старшие медленно, но уверенно, обгоняли нас. Дорога петляла между берегом и горой Кучура. Жара стояла томительная, и горы отражали и усиливали ее. На склонах все было выжжено, лишь у кустов дикой спаржи и цветущих каперсов еще оставалась зелень. Небольшие кусочки сланца катились вниз, собираясь в аккуратные горки, как будто сама Кучура трескалась и разрушалась под раскаленным безжалостным солнцем. Оглушительно трещали цикады. Но по другую сторону дороги лежало подобное зеркалу море, и веселые дельфины провожали нас вдоль берега, поддразнивая и маня.

Мы, дети, скоро начали ныть, умоляя позволить нам искупаться, но в ответ получили жесткое и презрительное «нет». Надо держаться! Так началось восхождение, оказавшееся утомительным и скучным. Но кое-что необычное все же произошло. Среди камней и сухих кустов росли высокие красивые цветы; мы их не рвали, потому что они были ядовитыми. Дядя Владимир зажег спичку, поднес ее к такому цветущему кусту, мгновенно вспыхнувшему голубым и ярким пламенем. «Вот вам и горящий куст Моисея³», — заметил дядя.

³ Исх. 3: 2–3.

Тропинка была крутой и нелегкой. Иногда нам приходилось перепрыгивать с камня на камень. Внезапно я увидела под ногами огромную, около двух метров, змею. Она медленно ползла. Кто-то крикнул мне: «Стой спокойно! Она не ядовитая, но может напасть». Я стояла как парализованная от страха, уставившись на жуткие движения змеи и ее раздвоенное жало.

Наконец мы поднялись на вершину Кастель. Но какое же последовало разочарование!.. На море открывался прекрасный вид, но свежести не чувствовалось. Гора была недостаточно высока. Здесь все было высушено, а разбросанные каменные глыбы затрудняли передвижение. Среди скал оказалась пещера. Узнав, что там однажды прятался убийца Гаффар, мы почувствовали, как по нашим спинам пробежал холодок. Этот Гаффар избил приятеля по работе и, забрав деньги, сбросил его с обрыва. Бедняга пытался удержаться за выступ скалы, но Гаффар отрубил ему пальцы. Сейчас Гаффар сидел в тюрьме, в Сибири. Стало не по себе на самом солнцепеке.

Возможно, слово «Сибирь» привело к мысли о политзаключенных, и кто-то из компании запел «Марсельезу». Немного странно, но таким образом в Крыму, на горе Кастель я впервые услышала французскую боевую песню, строго запрещенную в царской России. Пели ее на французском языке, но мне рассказали, о чем там речь.

Больше я не возвращалась к той неприветливой и негостеприимной горе, но с Гаффаром мне довелось встретиться, и у нас состоялся долгий разговор с глазу на глаз. Это произошло после революции, когда уголовных преступников освободили вместе с политзаключенными. Гаффар убил еще четыре или пять человек в нашем поселке, прежде чем застрелили его самого.

В начале августа 1914 года нам, детям, разрешили, после долгих уговоров и нытья, самим отправиться на день в поход. Втроем — Вова и Сергей Оболенские и я — мы пустились в наше авантюрное путешествие, полные устремлений и надежд. Поселок только просыпался, и, оставив его позади, мы начали подъем. Шли легко — возможно, потому, что мы отвечали сами за себя. Пройдя примерно полдороги, мы нагнали вереницу повозок, на которых турки-лесорубы везли дрова. Волы двигались медленно, и обогнать их не составило труда.

Наш день совершенно удался. Буковый лес, как всегда, великолепен, луга чудесны. В небольшом озере мы обнаружили маленьких черепах, но оттуда пришлось спасаться бегством после нападения

ужасных пиявок, намертво присосавшихся к нашим ногам. Насилу удалось от них избавиться.

Когда мы отправлялись в путь, нам даже в голову не пришло, что погода может оказаться совсем иной, чем внизу, у моря. Когда солнце зашло за тучу, стало холодно и лес грозно потемнел. Немного испуганные, мы повернули домой и почти побежали под холодным мелким дождем. Что темнота наступит так быстро, мы тоже не подумали.

Неожиданно на какой-то поляне возник человек. Мы вздрогнули, но вскоре догадались, увидев повозки и лежащих в траве волов, жующих жвачку, что он был одним из турков. Мы поздоровались как обычно: «Хош гельдин»*, и мужчина ответил: «Аллах рази олсун»**. Возникла какая-то неловкость: что от нас хотят?.. Решительным тоном он сказал: «Дождь. Заходите!» Мы вошли во временную палатку, где вокруг огня расположились турки. Нам предложили сесть, что мы и сделали; нас угостили хлебом и белым овечьим сыром. Потом наступила тишина. Я смотрела на этих людей, на их ничего не выражающие лица с глубокими морщинами; некоторые посасывали трубки.

Неожиданно один из них повернулся к мальчикам и спросил: «Что говорит *баба* (отец) — война или не война?»

Вова и Серж, застенчивые и неразговорчивые, молчали. Я перебрала в памяти, стараясь вспомнить, о чем дед и мои родители обычно говорили дома, и сказала: «*Баба* говорит, что австрийский принц убит». Турки выжидающе посмотрели на меня, потом покивали: очевидно, они уже знали об этом. Я продолжила, *баба* надеется на помощь Аллаха, чтобы избежать войны. Когда я упомянула имя Аллаха, взгляды всех присутствовавших обратились к небу. Тот турок, что немного говорил по-русски, сказал: «Война плохо, война делает людям очень плохо. Аллах милосердный, не делай войны. Если турок в войне с Англией — турок капут; Англия опасна и марафет (марафет — значит «умелый, искусный»). Турок должен домой в Анатолию».

Спустя десять дней я увидела после обеда маму и тетю Илюшку на смотровой площадке. Это было очень кстати, ибо мне повезло поймать действительно большого краба и я хотела порадоваться вместе с мамой. Она очень любила крабов и хвалила их вкус. Но на сей раз краб успеха не имел. Мама сказала только: «Да, да, хорошо... — И добавила: Плохие новости. Такое несчастье... Война. В России мобилизация».

* «Добро пожаловать!» (тур.).

** «Спасибо» (тур.). Букв.: Пусть Аллах согласится с этим.